

ЛЮБОВЬ & КОРОНА

Шарль Дамьяр
АННА
АВСТРИЙСКАЯ
*Первая любовь
королевы*

16+

любовно-
исторический
роман

Любовь и Корона

Шарль Далляр

**Анна Австрийская.
Первая любовь королевы**

«РИПОЛ Классик»

Далляр Ш.

Анна Австрийская. Первая любовь королевы / Ш. Далляр — «РИПОЛ Классик», — (Любовь и Корона)

Страстная любовь французской королевы и герцога Бэкингемского вызвала немало кривотолков. С уст придворных не сходили вопросы. Что происходит в королевских покоях? Почему кардинал Ришелье так яростно преследует влюбленных, плетет хитроумные интриги? Возможно, он сам влюблен в прекрасную Анну? Роман «Анна Австрийская. Первая любовь королевы» — самая романтическая и самая загадочная история королевской любви.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	15
IV	21
V	28
VI	38
VII	43
VIII	49
IX	55
X	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Шарль Далляр Анна Австрийская. Первая любовь королевы

Часть первая Любовь Кардинала

I

ГДЕ КАРДИНАЛ БЕГАЕТ ПО УЛИЦАМ КАК КОТ, МУЧИМЫЙ
ЛЮБОВЬЮ, А ТРИ НОЧНЫХ ВОРА НЕ МОГУТ УКРАСТЬ У НЕГО
НИЧЕГО

В один февральский вечер в 1625 года маленькая, низенькая дверь в улице Гарансьер медленно отворилась, и высунулась мужская голова. Пять часов пробилло на часах Люксанбургского дворца, носившего еще название дворца Медичи, по имени королевы-матери, Марии Медичи, по приказанию которой он был выстроен несколько лет тому назад. День сменился ночью, обещавшей быть ясной, светлой, но холодной, как прекрасная зимняя ночь. Улица была пуста. Толстый слой снега, уже прихваченный морозом, покрывал землю как блестящий ковер и, со единяясь со светом, исходящим от неба, позволял глазу следить во всю длину улицы и приметить издали спрятавшегося шпиона.

Человек, которому принадлежала высунувшаяся голова, вероятно, остался доволен удивлением, по-видимому, царствовавшим повсюду, потому что вместо того, чтоб проворно удалиться, как его принуждал пронзительный ветер, пахнувший ему в лицо, он вышел, тихо запер дверь и пошел по улице.

Это мог быть только влюбленный. А так как этому влюбленному предназначено играть в этом рассказе значительную роль, мы, следуя за ним в его ночной прогулке, не можем не обрисовать в нескольких быстрых чертах его наружность, которая, впрочем, весьма мало была видна. Как настоящий искатель любовных приключений, он постарался скрыть все, что могло бы вызвать подозрение и раскрыть его личность. Поярковая шляпа, украшенная с боку перьями, была надвинута на его лоб до бровей, а длинный плащ цвета стен доходил до губ, закрывая всю нижнюю часть лица. Таким образом, можно было только приметить два глубоких глаза, сверкавших металлическим блеском, как глаза кота; длинный, крючковатый нос и закрученные усы дополняли сходство с котом. Портрет влюбленного не лестен, но похож. Это узнают впоследствии; это портрет исторический. Более ничего не позволял рассмотреть плащ. Но внимательный наблюдатель, отвергнутый соперник или рассерженный муж, который встретился бы с ним и стал рассматривать тем проницательным взором, который делается зорким от ревности, тотчас приметил бы в его костюме странное несогласие, причину которого сначала было бы трудно угадать. Вместо сапог со шпорами, которые в то время составляли непременную принадлежность всякого порядочного человека, у него на ногах были башмаки из оленьей кожи с красными каблуками. Таким образом, верхняя и нижняя часть его наружности разнoglасили самым странным образом. На голове его была шляпа дворянина, а ноги обуты как у танцора. Промежуточная часть между ногами и головой ускользала от наблюдения. Только под складками плаща суровая форма шпаги порядочного размера обрисовывалась довольно ясно. Влюбленный обеспечил себя на всякий случай возможностью защищать или свой кошелек,

или свою шкуру от ночных грабителей, которых он мог встретить на дороге. Но теперь он, по-видимому, вовсе не заботился о подобном приключении. Полагаясь на спокойствие квартала, по которому он шел и в котором жили люди мирные, удерживаемые дома и своим нравом, и холодностью вечера, он шел смело по затверделому снегу по разным улицам к Новому мосту. До сих пор у него не было неприятной встречи. Это было так странно, что он сам удивлялся. В то время надо было бояться не только встречи с ночными ворами, но и со знатными вельможами, которые после попойки в какой-нибудь модной таверне рыскали по городу, отыскивая приключения, бесцеремонно колотя одних, преследуя других, стучась во все двери, ломая вывески и срывая плащи с прохожих, как настоящие ночные грабители. Приятное препровождение времени для знатных вельмож! Хорошее было времечко! К счастью, оно не вернется.

Или покровительствуемый случаем, или скорее тем, что он шел по улицам немногочисленным, не представлявшим ворах низшего и высшего разряда достаточной приманки, наш влюбленный успел без малейших приключений добраться до Нового моста. Но когда он огибал угол набережной, человек шесть бросилось к нему с криком, с визгом, с воем, с хохотом. Очевидно, это были не воры, боящиеся дозорных и избегающие шума. Это могли быть только молодые вельможи, вышедшие из-за стола, пьяные и безумные, которые, будучи уверены в безнаказанности, позволяли себе все.

Наш незнакомец остановился, как бы не решаясь, что ему делать. Наконец он решился продолжать свой путь. Два толстяка бежали сломя голову впереди шайки, как два зайца, преследуемые гончими. Человек в шляпе с перьями и в башмаках из оленьей шкуры понял, что негодяи гнались за этими беднягами или за их плащами, и надеялся, благодаря этой диверсии, пройти благополучно и неприметно. Два толстяка, которых шайка толкала сзади шпагами, пролетели, как два шара, мимо него, призывая дозорных отчаянным голосом, под своды, составлявшие в конце моста вход на новую улицу, построенную в честь дофина, сделавшегося впоследствии Людовиком XIII, и названную в честь его Дофиновой. Все убежали за ними, кроме троих, которые приметили нашего незнакомца, черный силуэт которого обрисовался на снегу, и решительно преградили ему путь.

– Еще один, господа, за которым нам надо погнаться! – вскричал тот, кто был к нему ближе.

– Прежде всего он должен отдать нам свой плащ, – сказал второй.

– Я не возьму от него кошелек, если он отдаст мне ключ, которым он запирает свою жену! – закричал третий.

Эти три восклицания, раздавшиеся почти в одно время, слились в одно, но голоса, произнесшие их, ясно долетели до слуха того, кто их вызвал. Услышав два первых голоса, он сделал движение нетерпения. Но, услышав последний голос, он вздрогнул.

– Посторонитесь, господа, – сказал он голосом глухим и, очевидно, измененным и опустил голову, чтобы как можно более скрыть лицо, и без того уже закрытое шляпой и плащом.

– Посторонитесь! – повторил тот, кто говорил последний. – Клянусь Богом, господа, какой дерзкий человек! Я упорно держусь моей первой мысли: пусть он ведет нас к своей жене.

– Да, но пусть прежде отдаст свой плащ.

Присоединяя движение к словам, любитель, разыгрывавший роль ночного вора, протянул руку и, прежде чем незнакомец успел отскочить назад, схватил плащ, закутывавший его с ног до головы, и сильно потянул к себе. Плащ, крепко застегнутый, не сорвался, но раздвинулся и открыл часть костюма, который он должен был скрывать.

– Черт побери, господа, славная находка! Это какой-то фигляр с Сен-Жерменской ярмарки!

Незнакомец вырвал свой плащ, отступил на шаг, и выражение бешеного гнева промелькнуло в его зеленых глазах.

– Берегитесь, господа, – сказал он все тем же измененным голосом и грозным тоном и все не приподнимая головы. – У меня есть шпага.

Громкий хохот, вырвавшийся у всех троих, встретил эти грозные слова.

– И у нас есть шпаги, – отвечал тот, голос которого в первую минуту сделал такое сильное впечатление на незнакомца, который казался и моложе, и пьянее из всей шайки. – Никто из нас никогда не прятал своей шпаги. Господа, проучим того, кто осмеливается говорить нам о шпаге!

– Проучим! Проучим! – закричали двое других.

Три шпаги блеснули при свете звезд в пьяных руках молодых сумасбродов. Тот, кому они угрожали, по-видимому, не испугался. Очевидно, он имел средство выпутаться из беды, когда захочет, но очевидно также, он имел сильные причины употребить это средство в последней крайности, после всех других. Физиономия его, если б ее можно было видеть, не выказала бы его врагам ни страха, ни слабости; она выражала только гнев с легким оттенком презрения. Вместо того чтоб самому взять в руку шпагу, как можно было бы предположить по грозному тону, который он принял сначала, он стоял скрестив руки под плащом и особенно обращаясь к тому, который, хотя был моложе, по-видимому, распоряжался своими товарищами.

– Прошу вас простить мою ошибку, господа, – сказал он примирительным тоном. – Я принял вас в первую минуту за настоящих разбойников, теперь я в вас узнаю благородных молодых вельмож, нападающих на прохожих только для того, чтобы их пугать, и для развлечения после попойки. Я надеюсь, что испуг, который вы возбудили во мне, достаточно вас рассеял и прошу вас позволить мне продолжать путь. Я бедный священник, отправляющийся по своей обязанности, и, если это может быть приятно для вас, я обещаю отслужить обедню за здоровье каждого из вас.

Новый хохот отвечал на эти слова.

– Священник в мушкетерской шляпе!

– В фиглиарской обуви!

– Со шпагой!

– Это волокита, отправляющийся к своей возлюбленной!

– Ревнивый муж, переодевшийся, чтобы застать врасплох свою жену.

– А может быть, и аббат, который днем бормочет молитвы, а ночью рыскает по улицам, как влюбленный кот.

– Надо его проводить.

– Да, мы увидим его возлюбленную.

– Мы расцелуем его жену и выгоним любовника.

– А потом поведем к Неве, чтобы он испортил желудок от любви.

Незнакомец, нимало не изменившись в лице, пропустил этот град стрел, сыпавшийся на него. После последних слов он сделал шаг к тому, к которому он уже раз обращался, и, приняв тон твердый и надменный, сказал:

– Я согласен, но, когда вам надоест водить меня повсюду, я попрошу ваше высочество привести меня к его величеству королю Людовику XIII, чтоб я мог ему сказать, не боясь опровержения, что его августейший брат Гастон Орлеанский, герцог Анжуйский, в сопровождении герцога Генриха Монморанси и Антоана Бурбона, графа де Морэ, то есть три самых благородных вельможи во Франции после него, останавливают и грабят со шпагою в руке жителей его доброго города Парижа, запоздавших на улицах.

При первых словах этой страшной речи три шпаги, протянутые вперед, невольно опустились к земле. Настала минута тяжелого молчания. Герцог Генрих Монморанси, самый старший из троих, тот, который непременно хотел сорвать с незнакомца плащ, опомнился первый.

– Милостивый государь! – вскричал он, приподняв свою шпагу, на этот раз грозную. – Когда знаешь людей так хорошо, то честь требует объявить им и о себе. Я не знаю, кто вы, и

хочу это знать. Назовите себя. Если вы дворянин, вы колебаться не будете, потому что ваше слово будет нам ручаться за ваше молчание. Если вы откажетесь назвать себя, стало быть, вы подлец, и тогда, клянусь кровью Монморанси, вы умрете!

– Хорошо сказано, Генрих! – подтвердил граф де Морэ, подражая движению своего друга. – Я буду тебе помогать в этом деле. Как вас зовут, милостивый государь?

Гастон Орлеанский, немножко протрезвев, не сделал ни одного движения, не произнес ни одного слова.

– Вы сами этого захотели, господа, – сказал незнакомец, – очень хорошо!

Он опустил плащ, снял шляпу и обнаружил гордую, надменную, сиявшую хитростью и лукавством голову кардинала Ришелье. Глухое восклицание изумления, смешанное с некоторым ужасом, вырвалось у троих молодых людей.

– Кардинал! – прошептали они.

– Да, господа, кардинал, – сказал Ришелье с лицемерным спокойствием, – кардинал, который охотно простит вам то, что вы остановили его и задержали исполнение приказаний его величества, если только этим делам не сделало вреда мое невольное замедление.

Ришелье униженно поклонился Гастону Орлеанскому, который быть смущен еще более своих товарищей.

– Ваше высочество, простите мне слова, сказанные мною сейчас, – продолжал кардинал, – я надеялся этим заставить вас, ваше высочество, и ваших друзей отпустить меня, не узнав меня, потому что таинственность моих поступков должна быть известна только его величеству и Богу. Я прошу ваше высочество убедиться, что у вас нет слуги вернее меня и что тайна ваших удовольствий, каковы бы они ни были, никогда не будет разглашена мною. Следовательно, господа, – прибавил он, любезно улыбаясь и обращаясь ко всем троим, – продолжайте забавляться, как будто мы не встречались никогда.

Он низко поклонился герцогу Анжуйскому, потом другим и, надев шляпу, удалился быстрыми шагами. Едва он повернулся спиной к молодым людям, как лицо его, чрезвычайно любезное, пока он говорил, вдруг помрачнело, едкая улыбка слегка сжала его губы.

– Может быть, мне придется вспомнить, что герцог де Монморанси приставлял к груди моей шпагу сегодня, – прошептал он.

Через несколько минут часы на церковной колокольне пробили шесть раз. Кардинал остановился, не встретившись более ни с кем, перед дверью черного входа одного отеля на улице Сен-Томá. Его, конечно, ждали там, потому что при шуме его шагов дверь отворилась пропустить его. Подозрительный кардинал, прежде чем вошел, быстро осмотрелся вокруг, удостоверясь, не следуют ли за ним. Успокоившись на этот счет, он пошел за субреткой, которая тотчас провела его к своей госпоже, прекрасной герцогине де Шеврез, приятельнице и фаворитке королевы Анны Австрийской. Целью ночной прогулки кардинала была гостиная герцогини.

II

БОЛЕЕ КОРОТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ТРЕМЯ НОЧНЫМИ ВОРАМИ, ИЗ КОТОРЫХ ПЕРВЫЙ БЫЛ БРАТ КОРОЛЯ, ВТОРОЙ СЫН ГЕНРИХА IV, А ТРЕТИЙ ГЕРЦОГ И ПЭР

Кардинал прошел уже весь мост, а три молодых сумасброда, осмелившиеся задержать его, еще не опомнились от изумления, в которое их привела эта встреча.

Ришелье не был еще тем, чем он должен был сделаться впоследствии; его еще не называли красным герцогом, потому что он еще не рубил тех высоких и знаменитых голов, которых впоследствии он срубил так много, но, судя по тому, что он позволял себе, на что он был способен, дворянство, даже самое знатное, если еще не боялось его, уже привыкало считаться с ним. Это общее чувство дворян к кардиналу обнаружилось в первых произнесенных словах.

– Ваше высочество, – сказал герцог де Монморанси герцогу Анжуйскому, – если вы мне позволите обнаружить вам мои чувства, мы остановим охоту за плащами и воротимся в Лувр. Я со своей стороны очень мало доверяю обещанию его преосвященства сохранить нашу тайну, а вашему высочеству так же хорошо известно, как и всем нам, что король не смеется никогда иначе, как сжав губы.

– Это правда. Мой брат не смеется никогда, но мы смеемся за него, – отвечал принц.

– Я согласен с Генрихом, – сказал граф де Морэ, – лицемер очень способен сыграть с нами какую-нибудь шутку. Мы, не узнав его, так дурно с ним обошлись, что он не может не сердиться на нас.

– Притом он улыбался слишком любезно, когда простился с нами: это дурной знак.

– Это совершенно справедливо; когда кот грациозно поднимает лапу, она тотчас царапает.

– Полно, полно, господа, – сказал Гастон, – вы видите этого кардинала в черном цвете. Никто более меня не может на него пожаловаться. Не заставил ли он короля, моего брата, запретить мне вход в апартаменты моей невестки, королевы, под предлогом, что я теперь слишком велик, чтобы играть на ее коленках, как я делал это в прошлом году? А я на него не сержусь; напротив, он оказал мне услугу, сам этого не зная. Теперь моя милая невестка обращается со мною как с женщиной, и, когда я целую ее, она краснеет.

– Ришелье обесславил бы честь и добродетель своей матери, если бы это могло принести пользу его умыслам. Ничего нет священного для этого духовного лица, даже того Господа, именем которого он клянется каждый раз, когда хочет изменить своей клятве.

– Когда кардинал обещает, можно быть уверенным, что он нашел способ изменить своему слову, – сказал Морэ нравоучительным тоном.

– К черту кардинала! – вскричал молодой принц. – Одно его присутствие нас отрезвило. Неужели мы способны бояться его?

– Монморанси не боится никого, – гордо сказал герцог.

– И как он ни смел, – продолжал таким же тоном Морэ, – ему никогда не придет мысль тронуть тех, у кого в жилах течет кровь Генриха IV.

– Но я не прошу ему, – прибавил герцог, – подозрений, возбужденных в уме его величества, относительно почтительных попечений, которые я, как верный подданный, оказывал королеве.

– Кузен, – сказал молодой принц, – носились слухи при дворе, что эти почтительные попечения моя невестка принимала с таким удовольствием, что король, брат мой, поступил благоразумно, удалив вас на некоторое время.

Будь ночь светлее, можно было бы видеть, как лицо Монморанси покрылось внезапным румянцем.

– Клевета, ваше высочество! – вскричал он с пылкостью. – Королева оказывала мне только дружескую благосклонность, которую она так благосклонно разливает на всех окружающих ее, и, если бы Ришелье был не духовным лицом, а военным, я заставил бы его, приставив шпагу к его горлу, отказаться от гнусной лжи, которую он выдумал.

– Не сердитесь, кузен, – сказал Гастон, смеясь. – Во-первых, добродетель королевы выше всего, что может выдумать и говорить кардинал; потом каждому известно, кроме моего брата короля, который как муж не должен ни знать, ни слышать ничего, что если его преосвященство так внимательно наблюдает за верностью королевы, то он делает это для собственной пользы. Он один влюблен в Анну больше нас всех и так старается удалить от нее всех, кого она могла бы полюбить, только потому, что она не скрывает своей ненависти к нему.

– Ее величество доказывает свой хороший вкус, ненавидя такого человека, – сказал герцог, с презрением делая ударение на этих словах. – Но куда это он шел в такое время один и пешком?

– Кто может это знать? Кардинал занимается политикой и дипломатией во всякое время и во всяком месте. Может быть, он идет лично, но тайно условиться с графами Карлиль и Голланд, посланниками от лондонского двора, вести переговоры о браке принца Уэльского с нашей сестрой Генриэттой Французской.

– Разве свадьба мадам Генриэтты с принцем Уэльским еще не решена? – спросил Морэ.

– Решена – да, но требования Ришелье замедлили и чуть было не расстроили этот брак. Кардинал в качестве духовного лица не хочет подать руки посланникам английского короля, а те этого требуют. Но граф де Бриенн нашел способ все примирить – добиться от англичан, чтоб они поверили нездоровью кардинала, который примет их в постели.

– Бриенн искусный человек, – сказал Монморанси. – Но я не могу допустить, чтобы кардинал шел заниматься политикой в этом костюме, который вовсе не похож на костюм прелата.

– Какой это костюм? Вы один видели его, кузен; он поспешил закрыть свой плащ, который вы раздвинули не с особенным уважением.

– Я не успел рассмотреть, но мне показалось, что панталоны были зеленые, а полукафтанье красное или желтое.

– Это карнавальное переодевание.

– Кардинал идет на какое-то свидание.

– Нам бы надо было идти за ним следом.

– Нет, – сказал принц, – у этого человека глаза на затылке.

– Ну, господа, надо же сделать что-нибудь, – сказал Морэ, который, чтоб согреться, топал ногою по снегу. – Если встреча с кардиналом отрезвила нас и прогнала нашу веселость, нет никакой причины оставаться здесь. На этом проклятом мосту замерзнешь. Воротимся в Лувр или, чтоб согреться, пойдем проведем часа два у Неве. Чем бы мы ни занялись, начнем с того, чтоб уйти отсюда, если не хотим превратиться в ледяные статуи.

– Не считая того, – подтвердил Монморанси, – что, если мы не остережемся, вместо того, чтоб срывать плащи с других, нам скоро придется защищать свои. Добрые люди, благородной промышленностью которых мы позаимствовались на время и которые, чтоб не конкурировать с нами, держались в стороне, по-видимому, хотят приняться за свои операции, видя, что мы перестали. Может быть, нам придется обнажить шпагу против них через несколько минут, а признаюсь, мне было бы неприятно замарать мою шпагу кровью подобных негодяев. Притом это наделало бы шуму; дозорные, может быть, захотели бы узнать причину шума, и мы были бы принуждены или убить с полдюжины, или позволить вести себя в Шатлэ.

Окончив эти слова, герцог указал на толпу людей злобещей наружности, находившуюся в десяти шагах, которые, по-видимому, совещались о том, следует ли просто прогнать незваных пришельцев или потребовать от них кошелька. Гастон взял герцога под руку.

– Да, кузен, – сказал он, – я понимаю, что эта перспектива вам не нравится. Брат мой Морэ и я можем пренебрегать этими неприятностями, потому что мы еще ничего не значим в государстве и отделались бы гримасой, которую брат мой король соорудил бы нам. Я, Гастон Орлеанский, более ничего как гроссмейстер ордена негодяйства, который установил я, великим приором которого Морэ. Если бы дозорные застали нас в погоне за плащами на Новом мосту, нам ничего не могли бы сказать. Мы исполняем нашу должность негодяев. Но вы, Монморанси, герцог и пэр королевства, полководец, адмирал; вы не негодяй и пошли с нами сегодня просто из одолжения; я не прошу себе никогда, если доведу вас до западни. Уйдемте, господа.

– Вот и прекрасно! – вскричал Морэ. – Я не чувствую ни рук, ни ног, ни носа.

– Уйдемте, – продолжал принц, – но не в Лувр, господа, не в Лувр. В Лувре страшная скука сегодня; король Людовик XIII сегодня еще капризнее обыкновенного, сестра моя, Анна Австрийская, от которой, благодаря стараниям кардинала, он удаляется все более каждый день, также не очень желает сблизиться с ним и сегодня отправилась с визитом к герцогине де Шеврез. В Лувре мы будем смертельно скучать.

– Пойдем к Неве; вино там чудесное, а женщины очаровательны.

– Нет, Морэ, нет! У Неве мы можем встретиться с кардиналом.

– Но клянусь бородой великого беарнца, нашего отца, лучше скучать на смерть или очутиться лицом к лицу с кардиналом, чем морозить себе ноги.

– Успокойся, Морэ, ты не замерзнешь, я поведу тебя в самое жаркое место, и если ты будешь скучать в том месте, где я тебя оставляю, значит, уж только по своей охоте.

– Куда ты нас ведешь?

– Узнаешь.

Принц вынул кошелек, высыпал на руку десяток луидоров и, швырнув их в голову ночных воров, издали рассматривавших их, закричал:

– Ловите, негодяи! Это за потерю времени по нашей милости.

Между тем как негодяи дрались за золотые монеты, рассыпавшиеся по снегу, молодые люди, увлекаемые братом короля, добежали до конца моста к Дофиновой улице. У набережной граф Морэ остановился.

– Разве мы не подождем или не пойдем отыскивать наших друзей, убежавших за двумя первыми людьми, которые имели несчастье встретиться с нами? – спросил он.

– Сохрани меня Бог! – сказал Гастон. – Они слишком хорошие негодяи для того, чтоб я взял их в доверенные. Пюилоран, советник Негодяйства, нескромный и болтун; аббат де ал Ривьер пьяница и останавливал бы нас в каждом кабаке, а Рошфор, мой канцлер, так ослеплен своими достоинствами с тех пор, как мадам де Гелиан заметила, чтоб польстить ему, что у него начинает расти борода, что он способен, вместо того чтоб помочь мне, занять мое место возле красавицы, ожидающей меня.

– У тебя назначено свидание, Гастон?

– Это тебя удивляет?

– Нет, но свидание свиданию рознь. Не с одной ли из женщин Неве?

– Фи! С дамой, с одной из наших прелестных и знатных дам! Она назначает мне уже третье свидание, а на двух первых я не был.

– Почему?

– Сказать по правде, друг, я не посмел.

– Хороша причина!

– Ах! Брат, ты годом старше меня, но тоже был бы не храбрее. Не все женщины похожи на пансионерок Неве, с которыми сейчас становится ловко. Я сошлюсь на герцога; он гораздо старше нас; не правда ли, кузен, что есть женщины, глаза которых, как ни ласковы и нежны, внушают страх и робость?

– Это правда, ваше высочество, – серьезно отвечал герцог.

– Это именно случилось со мной. Но сегодня я решился и положился на обоих вас, чтобы поддержать меня и помочь мне.

– Вашему высочеству известно, как я вам предан, но я не вижу, каким образом могу быть вам полезен в подобном обстоятельстве, – сказал герцог Монморанси.

– И я также, – сказал Морэ.

– Пойдемте со мною. Я скажу вам это по дороге.

– Куда мы идем?

– Во дворец моей матери или, лучше сказать, в тот, который выстроил возле нее верный союзник.

– Кардинал!

– Мы идем в Малый Люксембург?

– То есть я иду туда один, потому что не могу, несмотря на мое желание, привести двух свидетелей на любовное свидание.

Он взял под руку своих двух товарищей и увлек их за собой.

– Послушайте, друзья мои, – сказал он, – вот чего я жду от вас. На улице Феру есть кабачок, куда аббат Ривьер водил меня один раз. Там вы найдете в ожидании меня яркий огонь и хороший стол. Я прямо веду вас туда. В этом костюме нас не узнает никто, притом в этом кабачке мало кто бывает. Сначала мы опорожним несколько бутылок анжуйского. Беарнец, мой уважаемый родитель, знавший в этом толк, имел привычку говорить, что бутылка хорошего вина служит лучшим приготовлением к любовному предприятию.

– Король Генрих IV был прав, – смеясь, сказал герцог. – Вино поддерживает храбрых и оживляет робких.

– Я хочу сегодня же применить на практике это правило, а никогда не представится лучшего случая, если кардинал, со своей стороны, отправляясь странствовать, оставляет мне свободный доступ в свой дом.

– Ах, Гастон! – вскричал граф де Морэ. – Ты говоришь нам слишком много или слишком мало, но настолько однако, что мы можем понять. Твоя снисходительная красавица, назначавшая тебе три свидания, не может быть никем иным, кроме как мадам де Комбалэ.

– Племянница кардинала!

– Она сама, господа, – сказал семнадцатилетний донжуан, самонадеянно приосанясь.

– Позвольте, ваше высочество, – сказал герцог Монморанси, – я приехал из армии с берегов Сентонжа и не знаю, что происходит при дворе, однако мне показалось, что мадам Комбалэ, после своего вдовства, особенно с тех пор, как дядя сделал ее статс-дамой королевы-матери, предалась строгой набожности. Она, кажется, уже не носит ни жемчуга, ни бриллиантов, ни нарядных платьев, и ее не видно ни на балах, ни в спектаклях. Мне говорили, что она ведет жизнь такую благочестивую и суровую, что ее величество Мария Медичи, ваша мать, очень уважает ее.

– Вот что действительно говорят вслух, но, так как вы не знаете, кузен, я вам скажу, что говорится тихо. Уверяют, будто после своего вдовства, и даже прежде, мадам де Комбалэ – любовница кардинала, а его преосвященство, который может назваться негодяем больше всех нас, назначил свою племянницу статс-дамой королевы только для того, чтобы эта интрига не стеснялась ничем и в то же время была скрыта от всех.

– Неужели у всех гугенотов есть племянницы? – воскликнул граф де Морэ.

– Таким образом, – продолжал Гастон, – каждый вечер, если он темный, госпожа де Комбалэ, торопясь засвидетельствовать почтение дяде, пробирается, закутанная в широкий плащ, вдоль люксембургских стен до смежного дворца, в котором живет его преосвященство. Говорят, эти ночные прогулки прекращаются, только когда он принужден удалиться по делам короля и по своим, как сегодня, тогда он предоставляет ей свободу.

– Которой она спешит воспользоваться, чтобы назначать свидание вашему высочеству.

– Эта женщина не любит оставаться не занятой, – флегматически заметил Морэ.

– Тогда она с трудом простит вашему высочеству, что вы заставили ее потерять два вечера.

– Ба! Она надеется наверстать потерянное в третьем.

– И ей-богу, она не ошибется! – сказал молодой принц с победоносным видом. – Сегодня вечером я не хочу отступать ни на шаг и принял для этого предосторожности.

Гастон вынул из кармана своего полукафтання ключик, который вложил в руку герцога Монморанси.

– Вот, кузен, – сказал он, – ключ, который она мне дала, что бы я мог входить к ней инкогнито. Я отдаю его вам. Когда мы немножко согреемся в кабаке на улице Феру, я доведу вас до двери, которой принадлежит этот ключ; отоприте ее сами и, когда я войду, запирайте за мною. Не будучи в состоянии вернуться, я должен буду идти вперед.

– Очень благоразумно придумано, но, когда вы захотите уйти, кто отопрет вам дверь?

– Вы, кузен; вы и Морэ. Вы воротитесь для этого, когда настанет время. Господа, вы старше меня, и особенно вы, Монморанси, очень опытни в таких делах, скажите мне, сколько, по вашему мнению, мне нужно времени, чтоб с честью окончить это дело?

– Ваше высочество, двадцатилетняя вдова, племянница духовного лица, да ханжа вдобавок, всегда делает три четверти дороги, если не проходит ее всю вперед.

– Очень мило сказано! – с восторгом вскричал Морэ. – Генрих, у вас, верно, была целая дюжина любовниц-ханжей!

– Но ее глаза, любезный герцог, ее глаза жгут мне мозг и отнимают от меня все мужество, – сказал молодой принц не без некоторого замешательства. – Когда она на меня не смотрит, я чувствую себя способным на все; как только она на меня взглянет, я оторопеваю.

– Это очень просто, – возразил герцог. – Как только настанет минута, потушите свечу и будьте спокойны, темнота не заставит ханжу остановиться на дороге.

– Vente-saint-gris! – вскричал с радостью маленький принц. – Это чудесный совет, я сейчас им воспользуюсь.

– Золотые ваши речи, Монморанси! – вскричал Морэ. – Как жаль, что он не хочет вступить в орден негодяйства! Я сейчас уступил бы ему мою должность великого приора; он заслуживает ее более меня.

Трое молодых людей шли в обратном направлении по той самой дороге, по которой час тому назад шел кардинал, но они скоро поворотили налево, к улице Феру. Таверна, к которой они направлялись, была единственным домом на улице, выказывавшим еще в этот час освещенные окна за железной решеткой, закрывавшей их снаружи. Только, вопреки тому, как сказал молодой принц, что это было место немногочисленное, где, именно потому, что там не бывало почти никого, они не подвергались опасности быть узванными, в эту минуту слышался страшный шум пьяных голосов, крики и ругательства. Точно будто куча воплощенных демонов тут поселилась.

– О! О! Господа, – сказал Гастон, вдруг остановившись, – мы не можем войти туда; это будет неблагоразумно; таверна эта возле Люксембурга и должна быть наполнена в это время телохранителями кардинала, которые могут, не зная нас, поссориться с нами. Я предпочитаю на этот раз обойтись без средства, предписываемого Беарнцем, и удовольствоваться тем способом, который предложил мне герцог. Пойдемте; я вас доведу до двери, за которой меня ждут.

Они спустились по улице Феру до улицы Гарансьер. Там молодой принц остановился у маленькой и низкой двери большого и мрачного здания.

– Тут, – сказал он.

Эта дверь была та самая, в которую кардинал вышел в тот же вечер так осторожно.

– Отоприте, кузен, – тихим голосом сказал Гастон.

Герцог ощупью отыскал замок, вложил ключ и старался его повернуть.

– Эта дверь отперта, – сказал он. – Верно, ее забыли запереть.

– Это все равно, – сказал принц, не обративший внимания на это странное обстоятельство.

Он переступил порог и обернулся сказать:

– Теперь, кузен, закройте меня и приходите отпереть через час. По милости вашего доброго совета, этого будет достаточно, чтоб благополучно кончить мое приключение.

Герцог повиновался, запер дверь и вернулся к своему товарищу, который сказал ему прерывательным тоном, не весьма лестным для его августейшего брата:

– Что вы об этом скажете, Генрих? Не думаете ли вы, что если когда-нибудь Гастон Орлеанский попадет в яму, то, наверно, не по недостатку осторожности?

– Гастон еще так молод, – отвечал герцог.

– Ба! Лета не значат ничего. Поверите ли вы мне, де Монморанси, я знаю наверно, что великий Беарнец, его благородный отец и мой, все свое хорошее отдал своим любовницам, а жене отдал шелуху. Наш король Людовик XIII терпеть не может женщин, а наш брат Гастон боится всего; дети ли это его, храбрейшего из храбрецов, который перецеловал бы всех женщин в своем королевстве, если б мог? Я незаконный его сын и только годом старше Гастона, но я не боюсь ничего, и если б мне случилось на один час занять место моего брата, французского короля, королева Анна Австрийская, в продолжение десяти лет своего замужества остающаяся девственницей, через десять месяцев подарила бы мне дофина. Теперь, любезный Генрих, – прибавил граф де Морэ, переменив тон, – как вы желаете? Хотите ждать целый час здесь, на снегу и на ветру, нашего приятеля Гастона или не думаете ли, как и я, что нам во сто раз будет лучше у камина в таверне на улице Феру?

– В моем выборе сомневаться нечего, – отвечал герцог.

– Пойдемте же, когда так; и если там действительно телохранители кардинала, так как мы не станем вмешиваться в их дела, то надо надеяться, что и они не станут вмешиваться в наши.

– Вы правы, Морэ. Притом телохранители кардинала все дворяне, с которыми вовсе не бесславно находиться. Пойдем, попросим места у их огня.

Они вернулись назад и, не обращая внимания на шум, продолжавшийся внутри, решительно вошли туда. Мы оставили кардинала у герцогини де Шеврез, оставим и Гастона Орлеанского, вошедшего к племяннице кардинала, хорошенькой и набожной госпоже де Комбалэ; мы воротимся к ним несколько позднее, а теперь последуем за герцогом де Монморанси и незаконным сыном Генриха IV, Антоаном де Морэ, в таверну на улице Феру.

III

ГДЕ ГОВОРИТСЯ О ЛЮБВИ ПРОКУРОРСКОГО КЛЕРКА И О ЖИРНОМ ГУСЕ, ОБ ОДНОМ МИЛОМ ЮНОШЕ, КОТОРЫЙ ВЕРТИТ ВЕРТЕЛ, И О ПОЛДЮЖИНЕ ЗАБИЯК, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ОТДЕЛАТЬ ЕГО

Эта таверна состояла, как все тогдашние заведения подобного рода, из двух комнат.

Первая, в которую входили с улицы, была украшена камином и прилавком, заставленным стаканами и горшками. Вторая, отделявшаяся от первой дверью, всегда отворенной, служила приемной постоянным посетителям, то есть тем, которые, любя спокойствие и имея время и средства доставлять себе его, садились на скамейках пред бутылками с вином. Люди торопившиеся или те, у которых в кошельке доставало денег только на стакан или два, пили стоя в первой комнате пред прилавком. Вторая комната нагревалась от первой посредством всегда открытой двери, но такова была величина камина и щедрость, с какою хозяин накладывал в него дров, что в этой комнате постоянно был такой жар, что могли расти дыни.

В ту минуту, когда молодые люди вошли в таверну, на огромном вертеле пред камином вертелся жирный гусь. Хозяин, почти такой же жирный, сам занимался вертелом, беспрепятственно подкладывая дров. Должно быть, в этот вечер в таверне был пир. Такова была первая мысль, пришедшая на ум обоим молодым людям при виде аппетитного гуся и хозяина, так усердно жарившего его. Вторая, естественно последовавшая за первой, была: «Каким счастливым предназначается эта жирная живность?» Быстрым взглядом обвели они всю внутренность таверны и вот что увидели: на углу, но на самом отдаленном углу камина, скромно сидел на скамейке молодой человек лет двадцати, тоненький, гибкий и чрезвычайно стройный. На нем было серое, почти черное полукафтанье, очень изношенное и лоснившееся по швам, широкая поярковая шляпа с маленьким пером и черные бархатные панталоны, гораздо более изношенные, чем полукафтанье, и принявшие от старости отблеск разных цветов. Его легко можно было принять за сына какого-нибудь провинциального мещанина, которому родители давно забыли прислать денег, если б не огромные кожаные сапоги, доходившие до колен и украшенные гигантскими шпорами, а особенно шпага, непомерно длинная, висевшая на перевязи из буйволовой кожи. Сапоги и шпага показывали военного, а не мещанина. Скромный по виду, как и приличествует человеку в таком месте, где за все надо платить, но у которого кошелёк набит не туго, этот молодой человек смотрел не без зависти, но с спокойным равнодушием на великолепного гуся, вертевшегося у него перед носом и который, по-видимому, предназначался не для него. Поставив шпагу между ног, он спокойно грел у огня подошвы сапог, запачканных снегом, а желудок – вином из бутылки, стоявшей возле него на камине. В первой комнате никого не было, кроме него и трактирщика, который не обращал на него никакого внимания. Поэтому в комнате царствовала глубокая тишина. Вертел, скрипевший в руках хозяина, и капли жира, с треском попадавшие в огонь, составляли единственные звуки. Но в другой комнате картина была совершенно иная, и оттуда-то раздавались крики, хохот, ругательства, пение, так испугавшие брата короля. В отворенную дверь можно было видеть всех находившихся в той комнате. Это были военные, в которых с первого взгляда можно было узнать *поборников чести*.

В Лувре, в Люксембурге, возле королевы-матери и около кардинала, повсюду, наконец, при дворе, вертелись люди сомнительного дворянского происхождения, носившие бархатные плащи богато вышитые, тафтяные или атласные полукафтанья, обшитые кружевами и позументами, серые или черные шляпы с красными или синеватыми перьями, длинную шпагу, единственную представительницу того, что они называли своей честью – добродетель удобная,

не мешавшая им плутовать в картах и грабить парижан, не успевших вернуться домой до ночи. Всегда готовые подраться, они вызывали на дуэль первого, на кого им указывали, для пользы и дурного и хорошего дела; кровь свою они давали всем, кто хотел и мог за нее платить. Эти забияки рисковали своею жизнью ежечасно и спешили тратить деньги, когда они заводились у них. Те, у кого денег не было, жили кто плутовством, кто лъстя страстям каких-нибудь старух, позволявших постыдно разорять себя. Презираемые всеми, они внушали страх большинству, потому что их не удерживало ничто, и тот, кого они не могли победить на честном поединке, подвергался опасности быть вероломно убитым.

Их было тут человек шесть, и по их веселым речам, по беспрестанно повторяемым приказаниям хозяину, чтоб он хорошенько жарил гуся, по крикам восторга, вырывавшимся у них по мере того, как гусь принимал золотистый цвет, нельзя было сомневаться, что это жаркое предназначалось для них. Одни сидели, другие стояли, но все окружали длинный стол, прислоненный одним концом к стене и накрытый белую скатертью и приборами на семь человек. Приборов было семь, а поборников шесть. Но позади них, на конце стола, спиною к стене сидел седьмой человек, составлявший с ними разительный контраст, но, без всякого сомнения, принадлежавший к их обществу. Это, должно быть, был амфитрион; это, наверно, он платил за гуся. Это был толстяк с одутловатым и безбородым лицом, с видом скорее глупым, с тем хитрым, бесстрастная физиономия которого в нормальном состоянии выражала мало, а в эту минуту была омрачена какой-то неприятной мыслью. Он казался совсем не так весел, как его собеседники. Он был одет просто, но опрятно и походил на мещанина. С первого взгляда ему можно было дать также, как и молодому человеку, гревшемуся в первой комнате, лет двадцать, не более. Но это было единственное сходство между ними. Насколько у первого, под его скромным и сдержанным видом, было откровенности и честности в малейших чертах его лица, настолько у товарища поборников было хитрого лукавства. Впрочем, они, по-видимому, не знали друг друга.

Поборники чести со своей стороны не обращали никакого внимания на молодого человека в высоких сапогах, который также не занимался ими.

При входе в таверну герцога де Монморанси и графа де Морэ весьма естественное любопытство привлекло всеобщее внимание к вошедшим. Молодой человек, гревшийся у огня, вежливо, но холодно отвечал на поклон, который вошедшие сделали всем вообще. Поборники, на минуту прекратившие хохот и крики при шуме отворившейся двери, опять принялись хохотать и кричать. А толстяк, бросив тусклый взгляд на пришедших, опять равнодушно прислонился к стене. Один трактирщик, с обычной проницательностью людей его ремесла, тотчас угадал под платьем темного цвета, без перьев и кружев, дворян высокого звания и, бросив вертел, с колпаком в руке, поспешно пошел к ним навстречу.

– Не беспокойтесь, – сказал герцог. – Мы хотим только погреться у огня и выпить рюмку сомюрского или, если у вас есть вино лучше, по вашему выбору.

Трактирщик, уже красный от жара, побагровел от удовольствия и гордости. Никогда подобные посетители не говорили с ним таким тоном и не оказывали ему такого доверия.

– Монсеньер, – сказал он на всякий случай и не зная, заслуживает ли этот титул тот, к кому он обращался, – у меня есть крамонское, стоящее всякого самюрского. Десятилетнее вино, монсеньер! Я иду в погреб.

Он взглянул на гуся.

– Ах, а мой гусь! – вскричал он.

Молодой человек, гревшийся у огня, встал со своей скамьи.

– Ступайте, хозяин, – сказал он, – я позабочусь о вашем вертеле.

И натурально, просто, не раболепно, он взял в руки вертел и начал его крутить. Трактирщик явился с двумя бутылками, покрытыми пылью.

– Вот, господа, – сказал он, – и так как достойный молодой человек занял на минуту мое место, я отведу вас в комнату, где вам будет удобнее, чем здесь.

– Позвольте, – сказал Морэ, испугавшись мысли оставить камин, – нам еще нужнее согреться, чем пить.

– Будьте покойны, господа; там, где я вас помещу, вы можете пользоваться тем и другим; притом здесь не греются, а жарят.

Он взял подсвечник и отпер напротив камина дверь, которая вела в его собственную комнату. Расставив бутылки на столе, он принес дров и положил их в камин. Молодые люди, поставив ноги на решетку камина, со стаканами в руках, наслаждались, тем более что трактирщик нисколько не преувеличил достоинство крамонского вина. Они, может быть, легко забыли бы, в каком месте находились, если бы шум в соседней комнате не напомнил им об их положении. Только тонкая перегородка из неплотных досок отделяла их от той комнаты, где шумели в ожидании гуся гордые поборники чести и их угрюмый амфитрион. Шум этот вдруг прекратился, и переход к полной тишине был так неожидан, что тотчас привлек их внимание. Они поняли, что изжарившийся гусь явился на стол и голодные рты нашли себе лучшее занятие, чем хохот и крики. Бренчанье ножей и тарелок скоро показало им, что они не ошибались; но, так как пиршество поборников чести мало их интересовало, они воспользовались тишиной, чтобы разменяться похвалами превосходному качеству крамонского вина, когда фраза, осторожно произнесенная по другую сторону перегородки, невольно заставила их прислушаться.

– Теперь, когда мы можем, не возбуждая внимания, поговорить о ваших делах, мой милый, – говорил голос, очевидно сдерживаемый, но по милости тонкой перегородки внятно доходивший до слуха молодых людей, – скажите мне, для чего вы хотите, чтобы его убили?

– Я знаю этот голос, – прошептал герцог.

– И я также, – сказал граф.

– Это голос Лафеймы.

– Именно.

– Начальника шайки негодяев на жалованье у кардинала.

– Исполнителей его тайного мщения.

Они сделали рукою знак, предписывавший молчание, и принялись слушать.

– Неужели вы отказываетесь теперь оказать мне услугу, добрый господин де Лафейма? – сказал голос пронзительный, хотя осторожно сдерживаемый, какие вообще бывают у безбородых толстяков.

– Вы не поняли меня, мой милый. Дела остаются делами, и меня еще никто не осмелился обвинить в плутовстве.

– Я вас не обвиняю, добрый господин де Лафейма.

– Вы меня встретили час тому назад вместе с этими пятью благородными дворянами, моими друзьями, мы возвращались после игры в мяч на берегах Бьевры, но черт меня побери, если я знаю, почему вы могли меня узнать! Впрочем, это не должно удивлять меня – я ведь могу сказать, страшно известен; и вдруг ни с того ни с сего предложили избавить вас посредством меня самого или одного из моих друзей от человека, стесняющего вас.

– Это правда, господин де Лафейма.

– Да, и предложили нам, мне и моим друзьям, в задаток ужин, за который мы теперь принимаемся. Все это очень хорошо, но прежде всего надо условиться.

– Условимся, господин де Лафейма. Я заранее согласен на все, что вы от меня потребуете, только бы ваши притязания не превышали моих средств.

– Невозможно лучше выразаться. Во-первых, если вы знаете меня так хорошо, то справедливость требует, чтобы и я вас также знал. Кто вы и как вас зовут?

Наступило минутное молчание, но потом толстяк отвечал своим пронзительным и вместе с тем сладеньким голоском:

– Я ничего не хочу от вас скрывать, добрейший господин де Лафейма. Меня зовут Нарцис-Дезирэ Пасро; я сын господина Пасро, квартального надзирателя на улице Прувер, и служу первым клерком у господина Гриппона, прокурора в Шатлэ.

– Прокурорский клерк! Черт побери, мой милый, и вы хотите позволить себе фантазию убить того, кто вас стесняет, посредством шпаги Лафейма, как будто вы дворянин! – сказал Лафейма, хорохорясь. – Знаете ли, мой милый, что эти вещи обходятся дорого?

– Я вам уже говорил, добрый господин де Лафейма, что на деньги я не смотрю, если вы не спросите у меня более того, что есть.

– Хорошо, хорошо; вы мне кажетесь добрым малым, и я вижу, что мы можем условиться. Какою суммою располагаете вы, мой юный друг?

– У меня только пятьдесят пистолей, господин де Лафейма.

– Пятьдесят пистолей! Это очень немного. Кого хотите вы, чтоб убили за такую бездельницу? Поищите в вашей памяти, не забыли ли вы в вашем кармане еще десятка два пистолей?

– Клянусь вам, господин де Лафейма, что я не могу дать больше ничего и что, вывернув мои карманы, вряд ли я найду, чем заплатить хозяину за ужин вашим друзьям и за вино, которое они выпьют.

Голос толстяка принял такой пискливый и искренний тон, что Лафейма, казалось, был убежден.

– Хорошо, – сказал он с притворным добродушием, – так как вы обратились ко мне, я не оставляю вас в затруднении. Ваш неприятель умрет. Только дело это так ничтожно, что я сам за него не возьмусь; один из этих господ заступит мое место.

– Но может быть, и даже наверно, эти господа не имеют вашей ловкости. Если тот, кто заменит вас, даст промах?

– Не опасайтесь, мой милый. Вот по левую вашу руку сидит кавалер де Бельсор, гасконец с берегов Гаронны, один из самых искусных наших бойцов; он возьмется за это и уж промаха не даст. Вы с этой минуты должны считать мертвым вашего врага.

– Однако если кавалеру де Бельсору не удастся? – робко сказал негодай.

– Это невозможно!

– Однако это случиться может.

– Его заменит де Куртрив, его сосед. Не тревожьтесь, черт побери! И не жужжите в уши, или я предоставлю ваши дела вам самому.

– Я молчу, господин де Лафейма.

– Вы не сказали мне причину вашего гнева против этого молодого человека, которого вы желаете отправить на тот свет; мы ведь не ошибаемся, вы хотите освободиться от молодого человека, который греется по другую сторону камина, от того, который сейчас так мило вращал вёртел?

– От него.

– Очень хорошо. Теперь я очень рад был бы знать, по какой причине?

Настало новое молчание.

– Нужно ли говорить вам? – спросил пискливый голосок Нарциса-Дезирэ Пасро.

– Если я вас спрашиваю, стало быть, я хочу знать, – грубо возразил мессир Лафейма, не перемонившийся с прокурорским клерком.

– Вот вся история.

– Слушаю и ем.

– Прежде всего, нужно вам знать, что я уже два года жених Денизы, дочери садовника в Валь де Грас.

– Это мне понятно, – сказал Лафейма, набив полон рот. – Далее?

– Аббат де Боаробер, друг кардинала, говорил обо мне отцу Денизы. Аббат знал меня у мэтра Гриппона, у которого он часто обедает, а так как у него сильная рука, он взял на себя

все. Решили, что мы обвенчаемся в День Всех Святых; но вот уже месяцев пять, как Дениза не решается.

– Дело вкуса.

– Она кокетка не хуже любой знатной дамы.

– Она права.

– Она не права, господин де Лафейма, – возразил клерк изменившимся голосом, – этим замедлением и своим кокетством она заставила меня ревновать.

– Скверный порок, мой милый. Налейте мне пить.

– Как только могу выбрать минуту, я оставляю контору моего хозяина и скачу в Валь де Грас. Так как здание нового монастыря еще не закончено, там много скрытных мест; я прячусь в угол, где меня не могут увидеть, и подсматриваю.

– Это лучшее средство узнать, когда не хочешь расспрашивать.

– Да, и хорошо, что я выбрал это средство, потому что я теперь знаю, в чем дело.

– То есть вы удостоверились, что вас обманывают. Удостовериться в этом всегда хорошо.

За битого двух небитых дают.

– Судите сами. Сегодня ровно неделя, как этот человек, которого я не знаю, которого никогда прежде не видал, явился в первый раз в Валь де Грас, прямо напротив дома Денизы. Он тихо подошел к самому дому, внимательно осмотрелся вокруг, направо и налево, и прогуливался таким образом около часа. Во все это время Дениза, подошедшая к окну, когда он явился, ни на минуту не сошла с места и все смотрела на него из-за полуотворенного ставня.

– Черт побери! Это действительно похоже на страсть! Передайте мне, пожалуйста, этот ломтик.

– На другой день я опять был на своем посту. В тот же час появились он и Дениза на своих местах.

– Черт побери!

– Это продолжается целую неделю. Каждый вечер, за час до наступления ночи, он приходит прогуливаться под окном Денизы и уходит при наступлении ночи.

Еще сегодня вечером он поступил по обыкновению, но вчера я незаметно последовал за ним и видел, как он вошел в эту таверну, где, по всей вероятности, он живет. Я узнал довольно.

– Гм! А мне кажется, что вы вовсе ничего не знаете и кажетесь мне похожи на ревнивца самого свирепого сорта. Клянусь рогами черта! Если б мужа и любовники заставляли убивать всех, кто сентиментально прогуливается под окнами их жен и возлюбленных, не достало бы для этого всех наших шпаг.

– Я вам говорю, что этот человек, хотя при мне он с ней не говорил, влюблен в Денизу и Дениза любит его, – хрип лым голосом сказал прокурорский клерк. – Для чего станет он прогуливаться каждый вечер все на одном решительно пустынном месте, где существует только одна женщина? Притом в эту неделю, с тех пор как Дениза увидала его, она сделалась со мною еще холоднее и сдержаннее прежнего. Они любят друг друга, говорю я вам. Я хочу, чтоб он умер! Добрый господин де Лафейма, сделайте это для меня.

– Я это сделаю скорее для ваших пистолей, потому что вами, мой милый, я дорожу столько же, как и пустой бутылкой. Но дела ваши касаются вас одного, и, если вы честно отсчитаете условленную сумму, о чем раз говорено, так и будет. Как только Бельсор вычистит зубы, еще набитые жиром вашего гуся, он возьмет на себя отправить вашего врага на тот свет. Вы слышите Бельсор?

– Я очень хорошо слышал, – ответил Бельсор, крутя свои рыжие усы. – Дело не затянется, потому что он мне показался мимоходом похож на молокососа, едва вышедшего из-под материнских юбок.

– Как же вы возьметесь за это? – спросил прокурорский клерк с жестоким любопытством.

– Все средства хороши, молодой человек, – отвечал наемный убийца. – Я подойду к огню, будто бы погреть мои сапоги, и наступлю ему на ногу, он попросит у меня извинения, но я представлюсь обиженным и вызову его в такое место, где снег жесткий. Он возьмет шпагу в руку, и я его убью. Вот. Отсчитывайте пистолы; я выпью последний стакан вина за ваше здоровье и иду.

Наступило опять минутное молчание, потом раздалось бречанье серебра. Это злодей отсчитывал цену крови.

Герцог де Монморанси и граф де Морэ не проронили ни одного слова. Герцог был спокоен и холоден, как человек, который, несмотря на свою молодость, уже много видел. Но юный граф де Морэ, незаконный сын пылкого Генриха IV, такой же впечатлительный, как и его отец, был бледен от ужаса и его рука, сжимавшая эфес шпаги, невольно дрожала. Он взял своего товарища за руку и молча привел его на другой конец комнаты.

– Мы знаем довольно, чтоб решить, как нам поступить, – сказал он шепотом, – и, полагаю, вы одного со мною мнения, Генрих?

– Какое же ваше мнение, Морэ?

– Напасть на этих мерзавцев и, не дав им времени опомниться, изрубить их в куски.

– Я не разделяю вашего мнения, Морэ, – отвечал герцог. – Когда в жилах течет королевская кровь, как у вас, друг мой, когда носишь имя Монморанси, как я, нельзя обнажать шпаги против подобных негодяев. Если б со мною было с полдюжины матросов моего корабля, я велел бы всех их отдуть палками до смерти, но теперь это невозможно.

– Итак, мы допустим умертвить этого бедного молодого человека у нас на глазах! – с негодованием перебил граф. – И будем сидеть сложа руки, ничего не предприняв для его защиты?

– Нет, – сказал герцог. – Прежде всего мы предостережем его насчет ссоры, которую хотят с ним затеять. Если это юноша осторожный и благоразумный, он постарается избежать ее. Если, к несчастью, это ему не удастся и битва затеется, мы должны сообразоваться с обстоятельствами. Но, ради Бога, Морэ, не увлекайтесь вашей горячей кровью и положитесь на меня. Этот молодой человек мне нравится, и клянусь вам, я сделаю для него все, что могу. Теперь пойдемте.

Он взял свечу со стола и отворил дверь в таверну.

IV

ГДЕ МОЖНО ВИДЕТЬ, КАК МАЛЕНЬКИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
УЛОЖИЛ НА ЗЕМЛЮ РАЗОМ ГАСКОНЦА, ПИКАРДИЙЦА И
НОРМАНДЦА, И ГДЕ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ОН УБИЛ БЫ И МНОГИХ
ДРУГИХ, ЕСЛИ БЫ ЕГО ДОПУСТИЛИ

В ту минуту, когда герцог, выходя из комнаты хозяина, появился на пороге таверны, один из поборников, без сомнения тот, кого звали Бельсор, выходил из двери второй комнаты и направлялся к молодому человеку, который сидел на том же месте на углу камина и, не занимаясь никем, философски следовал за течением своих мыслей, смотря, как дрова превращаются в угли, а угли в золу.

Кавалер де Бельсор, надев шляпу набекрень, правую руку крутя усы, а левую опираясь на эфес своей шпаги, вдруг был остановлен по дороге железной рукой, опустившейся на его плечо и пригвоздившей его к месту с силой, которую он понял в одну секунду. Скорее изумленный, чем испуганный подобною дерзостью, он обернулся, и глаза его встретили спокойное лицо и могущественный взгляд герцога.

– Я прежде вас имею дело к этому молодому человеку и хочу первый с ним говорить, – сказал герцог. – Оставайтесь на вашем месте и ждите.

Герцог прошел впереди Бельсора. Тот, когда высвободилось его плечо, возвратил все свое бесстыдное гасконское фанфаронство.

– Тому, кто осмелился наложить руку на кавалера де Бельсора, должно быть, очень надоела жизнь! – вскричал он. – Исполняйте ваше дело, милостивый государь, исполняйте! Это будет вашим последним делом! – закричал он герцогу. – Я хочу, чтобы моя шпага превратилась в веретено, если сейчас не воткну ее вам в тело.

Герцог даже не обернулся. Молодой человек, при первых словах поднявший глаза, встал со своего места.

– Вы имеете дело ко мне? – обратился он герцогу, который подошел к нему и поклонился.

– Да, я хочу подать вам совет.

Герцог обернулся и, указав пальцем на поборника, остановившегося посреди залы, продолжал:

– Я хочу вам сказать, что этот человек, этот негодяй, которого вы видите пред собою, получил сейчас пятьдесят пистолей за то, чтобы вас убить, вызвав вас на дуэль под первым предложением. Знайте же это и рассудите, что вам делать.

Эти слова были ударом грома. Лафейма и его люди, вставшие из-за стола, чтобы ближе присутствовать при условленной сцене между Бельсором и его обреченной жертвой, остановились, окаменев от изумления и гнева при виде человека, настолько безумного, чтобы осмеливаться вмешиваться в их дела и стараться им мешать. В эту минуту смерть смельчака была решена в мыслях каждого из страшных поборников чести. Жалкий клерк прокурора, первая причина всего этого приключения, позеленел от бешенства при этом вмешательстве незнакомцев, которое, по-видимому, имело целью отнять у него добычу; но, так как он был столько же труслив, сколько и хитер, он спрятался за своими приятелями, поборниками чести, грозные фигуры которых скрывали его совершенно.

Хозяин благоразумно ретировался за прилавок, и зубы его стучали от страха и беспокойства. Несчастный предвидел какую-нибудь страшную резню, в которой пострадает его мебель и он сам.

Молодой граф де Морэ, со сверкающими глазами положив руку на эфес шпаги, стоял в двух шагах от герцога де Монморанси, и, как заставил его обещать его друг, в котором он при-

знавал двойной перевес – возраста и рассудка, – он ждал, что будет, готовый обнажить шпагу при первом знаке. Но больше всех удивлялся, больше всех бесился, больше всех задыхался гасконец Бельсор.

– Черт поberi! – закричал он, кулаком надвинув шляпу на правое ухо. – Ввиду подобной обиды всякое другое дело следует отложить! Юноша будет вторым, а вы первым, милостивый государь, назвавший меня негодяем. Пойдемте! Я спрошу у вас ваше имя, проткнув вас моей шпагой.

Герцог бросил на забияку презрительный взгляд, потом медленно подошел к нему, скрепив руки на груди и устремив на него глаза.

– Это ты со мной говоришь, негодяй? – сказал он.

– А то с кем же? – заревел Бельсор, посинев.

– Молчать! Ты имеешь притязание знать мое имя? Я тебе скажу. Меня зовут герцог Генрих де Монморанси, я маршал и адмирал. Теперь, когда ты это знаешь, сними твою шляпу. Со мною должны говорить без шляпы.

Бельсор поспешно снял шляпу. Из синего он сделался зеленым. Поборники, и первый Лафейма, также вдруг потеряли свой надменный вид. Имя Монморанси, первое во Франции после короля и только в последние годы – после имени кардинала, вдруг поубавило у них спеси. Каждый из них, начиная от Бельсора до Лафейма, очень хорошо понимал это. Человек, носивший имя Монморанси, несмотря ни на какое оскорбление, не мог выходить на дуэль с первым встречным; человек, носивший имя Монморанси, не скрещивал шпаги коннетабля, находившейся в его фамилии четыре поколения, с шпагой наемного убийцы. Нечего было и думать о том, чтобы убить его на дуэли. Оставалось умертвить его. Но Монморанси нельзя было умертвить как неизвестного дворянина. Камни на дороге поднялись бы, чтобы донести на виновников подобного преступления, и у палача недостало бы раскаленных клещей и кипящего масла, чтобы наказать за это. Забияки потупили головы. Один Бельсор поднял ее. Стыд, унижение, бешенство, что он не может отомстить тому, который нанес ему такое кровавое оскорбление, все дурные чувства, волновавшие его, вылились наружу.

– По крайней мере, этот поплатится за всех! – вскричал он, бросаясь с поднятой рукою на молодого человека, который, хотя заинтересованный в этом споре, оставался до сих пор довольно спокойным зрителем этой сцены.

Но спокойствие это, конечно, было только наружное, потому что, увидев, как Бельсор летит на него сломя голову, он протянул руку, схватил его, так сказать, на лету, и силою, на которую с первого взгляда его нельзя было считать способным по молодости лет, отбросил в середину залы на очаг, еще красный. Тогда, не занимаясь более им, он прямо обратился к герцогу:

– Монсеньер, вы предупредили меня, что этот человек получил пятьдесят пистолей за то, чтобы лишить меня жизни, и я спешу поблагодарить вас за это уведомление. Но если один получил, то, стало быть, другой ему отдал. Если б вы могли и хотели мне сказать, кто это, вы дополнили бы услугу, которую оказали мне.

Это было сказано внятно, чистосердечно и тоном почти веселым, который был довольно странным в человеке, знавшем, что он почти обречен на верную смерть.

– А вот я вам покажу! – вскричал граф де Морэ, бросаясь во вторую комнату.

Но Нарцис-Дезирэ Пасро не рассудил за благо дожидаться, чтобы за ним пришли. При первых словах, заставивших его догадаться, что будет, он стал искать глазами выход. В комнате было только одно окно и довольно высоко от пола, Но клерк был молод, довольно проворен, несмотря на свой жир, и притом боялся. Спрятавшись за плечами товарищей Лафейма, он вскарабкался на стол, добрался до окна и исчез. Морэ мог сообщить об его побеге.

– Жаль! – сказал молодой человек в больших сапогах. – Мне хотелось бы его видеть, потому что, право, все это очень странно. Нет еще и недели, как я в Париже, и говорил только с

одним человеком, моим хозяином, вот этим, и нажил уже себе такого смертельного врага, что он жертвует пятьдесят пистолей на то, чтобы меня убить! Правду говорят, что Париж странный город, – прибавил он с чистосердечным смехом.

Бельсор приподнялся, выпачканный в золе и с пеной бешенства у рта. Но принужденный прежде всего гасить огонь, горевший в десяти местах на его платье, начиная от панталон до вышитого воротника плаща, он несколько минут оставался спокоен. Молодой человек взглянул на него, и физиономия его вдруг совершенно изменилась. Его веселая улыбка исчезла, и глаза приняли выражение презрительной угрозы, а все лицо покрылось перламутровой бледностью.

– Когда вы достаточно вычистите свое платье, мой храбрец, – сказал он, – вы, может быть, подумаете, что пора постараться отработать пятьдесят пистолей. Вы их получили, и отработать надо.

– Пойдемте! – вскричал Бельсор, надевая шляпу, свалившуюся во время его падения.

– Монсеньер, – сказал его противник, подходя к герцогу со шляпой в руке, – если бы я знал кого-нибудь в Париже или если бы это было днем, и я мог позвать первого прохожего, я не осмелился бы обратиться к вам с подобной просьбой, но вы видите, что я не могу выбирать. Я бедный дворянин, но дворянин настоящий, барон де Поанти из Дофинэ. Хотите сделать мне честь вместе с вашим другом быть свидетелями этой дуэли? Заметьте, что я не прошу вас быть моими секундантами. Мне хотелось бы только, чтобы честный человек мог удостоверить, что все произошло по законам совести и чести.

– Я сам хотел просить у вас позволения присутствовать при этой дуэли, не из участия к вашим противникам, а к вам, – вежливо ответил герцог.

– Когда так, я вдвойне благодарен вам.

Герцог бросил под нос трактирщику, изумленному этой щедростью, испанский дублон и вышел из таверны с графом де Морэ и бароном де Поанти. Лафейма и его товарищи присоединились к Бельсору, который, показывая дорогу, шел большими шагами к Сен-Жерменскому аббатству, обыкновенному месту поединков. Обе группы шли, таким образом, шагов на двадцать одна от другой.

– Барон де Поанти, – сказал герцог вполголоса молодому человеку, – позвольте задать вам один вопрос.

– Сколько вам угодно, герцог.

– Вероятно, так как вы приезжий в Париже, вы не знаете, с каким человеком будете драться на дуэли.

– Это правда, герцог, и это вовсе не занимает меня.

– Напрасно, этот человек и его товарищи люди самые опасные. Каждый из них, может быть, убил уже десять противников. Дуэль с ними почти всегда смертельна. Хотите принять добрый совет? Но прежде скажите мне откровенно, умеете ли вы фехтовать?

– Немножко.

– Немножко это нехорошо. Но настолько ли вы знакомы со шпагой, чтобы быть в состоянии защищаться?

– Я думаю.

– Черт побери! Вы не уверены в этом?

– Уверен.

– Кто был вашим учителем?

– Мой отец.

– Гм! Когда так, я боюсь, что вы знаете немного, и возвращаюсь к моему совету.

– Говорите.

– Не нападайте, а защищайтесь. Таким образом, вы рискуете получить только царапину, которой, как я надеюсь, будет достаточно для того, чтобы я велел остановить поединок. Лучше царапина, чем смертельная рана.

– Монморанси прав, – сказал Морэ, – когда имеешь дело с такими негодьями, глупо драться добросо вестно.

Если б было светло, Монморанси и Морэ могли бы видеть на губах молодого человека странную улыбку.

– Благодарю вас очень искренно за все участие, которое вы оказываете мне, – сказал он. – Я вам докажу, что я его достоин. Что касается вашего совета, герцог, позвольте мне не последовать ему. Вы знаете, каждый дерется на шпагах по-своему. Вы увидите, хорошо ли я дерусь.

Они дошли до места поединка. Бельсор проворно снял плащ и полукафтанье. Противник последовал его примеру.

– Прочтите молитву, – сказал ему негодяй, обнажая шпагу.

– Я уж прочел, – отвечал барон.

Шпаги скоро скрестились, синеватый блеск сверкнул из обоих лезвий. Глухой крик нарушил ночную тишину, и Бельсор упал плашмя вперед. Барон де Поанти, опустив к сапогу окровавленное лезвие своей шпаги, как будто не шевелился.

– Который из этих господ возьмет теперь пятьдесят пистолей? – спросил он самым спокойным тоном.

– Клянусь святым Яковом, моим патроном! – вскричал с очень резким никарским акцентом де Курттив. – Дурак Бельсор был пьян, он наткнулся на шпагу как дурак. А этот петушок, оттого что тот сделал неловкость, принимает вид забияки; ну, подожди!

Де Курттив был низенький блондин, раздушенный до крайности, щеголь, слывший справедливо между своими собратями за страшного и самого вероломного дуэлянта. Он в одну секунду надел шляпу, снял полукафтанье и плащ и обнажил шагу. Но он будто услышал совет, который герцог Монморанси дал молодому барону, и хотел им воспользоваться: он не напал, как кавалер де Бельсор, а оставался в оборонительном положении. Но случилось точно то же, и так быстро, что никто не мог проследить глазом этой борьбы. Результат был тот же: де Курттив упал мертвый и также на лицо, как и Бельсор. Между поборниками чести пробежал трепет изумления. Но все эти люди, привыкшие играть своею жизнью, были храбры и по темпераменту, и по ремеслу. Ни один из них не подумал отступить. Притом они самоуверенно доверяли своему опыту и гибельной ловкости, а противник, убивший двоих, казался так молод, что никому не пришло в голову, что эта молодость может скрывать глубокое знание науки фехтования и два удара, которые они приписывали случаю, быть может, нанесены искусной рукой и верным глазом. Монморанси и Морэ, не ослепленные самолюбием, начинали приходить к последнему предположению. Барон де Поанти опять принял свою спокойную позу. Поборники держали поодаль совет.

– Господа, я видел, как дерется этот ребенок, – говорил один из них, маркиз де Либерсаль, нормандец по происхождению, сложенный как Геркулес и сильный как бык. – Бельсор и Курттив попались как два дурака. Он наносит удар прямо, как школьник. Надо иметь крепкую руку и долго и сильно выбивать у него шпагу. Я берусь за него, тем более что мне очень нужны пятьдесят пистолей прокурорского клерка.

– Берегитесь, Либерсаль! – сказал растревоженный Лафейма.

– Вот еще! Я его отделаю разом.

– Впрочем, если с вами случится несчастье, вы будете отмщены, если б нам пришлось всем напасть на него разом.

Между тем Либерсаль снимал полукафтанье.

– Не угодно ли со мною, милостивый государь? – сказал он барону.

– Охотно, – холодно отвечал тот.

Чрез секунду маркиз упал, в свою очередь пораженный таким же ударом. Тогда по разъяренным рядам поборников пронесся уже не ропот, а ругательства и крики слепой ярости.

Три остальные шпаги были обнажены. Но между ними и Поанти, который ждал их твердо, вдруг стали герцог и граф де Морэ. Герцог Монморанси также обнажил шпагу, только он держал ее за лезвие.

– В ножны шпаги, в ножны! – закричал он громовым голосом. – Или клянусь именем Монморанси, я стану колотить вас эфесом, между тем как барон де Поанти станет протыкать вас острием! И вы видите, что он довольно хорошо владеет своею шпагой. А! Вы хотите убивать людей и возмущаетесь, потому что они этого не позволяют! Все произошло честно, и барон де Поанти убил троих как истинно честный человек. Я знаю в этом толк и свидетельствую это; итак, убирайте умерших и оставайтесь в покое.

Лафейма и оба его товарища остановились. Герцог обернулся к барону.

– Вы должны быть удовлетворены, барон де Поанти?

– Я вполне удовлетворен, – отвечал спокойно молодой человек.

– Так наденьте ваше полукафтанье и, если наше общество вам не противно, пойдемте с нами по дороге.

– Я к вашим услугам, монсеньер, и благодарю вас за оказанную мне честь.

– Надеюсь, что никто из вас не будет иметь дерзости идти за нами? – обратился герцог прямо к Лафейма.

– Ваша светлость, вы можете быть спокойны, никто не будет иметь этой дерзости, – отвечал Лафейма тем бесстыдным тоном, который был ему свойствен, – но надеюсь со своей стороны, что мы встретимся когда-нибудь с бароном де Поанти без его провожатых.

– Не отвечайте и пойдемте, – сказал герцог молодому человеку, который после этих слов сделал уже шаг к Лафейма.

– Я вам повинуюсь, но если, как желает этот человек, мы встретимся с ним опять случайно, я уверен, что его убью.

– Любезный барон де Поанти, – сказал ему герцог, когда они повернули за угол двух или трех улиц и удостоверились, что, верные своему обещанию, поборники не старались следовать за ними, – любезный барон де Поанти, у вас ужасная рука, и, судя по тому, что я видел сегодня, я убежден, что вы с трудом найдете человека искуснее вас. Но чего не может сделать один человек, то могут сделать двое, четверо, десять, если окажется нужно. Притом, когда узнают, что шпаги бессильны, пули из ружья наверняка достигнут цели. Час тому назад у вас был только один враг, злодей, которому заплатили за то, чтобы он лишил вас жизни; теперь ваши враги – вся шайка Лафейма, а она еще очень многочисленна, хотя вы уменьшили ее тремя членами. Послушайтесь доброго совета и последуйте ему сейчас. Вы выбрали себе жилище на улице Феру; забудьте, что есть в Париже такая улица, или если хотите помнить, то удаляйтесь от нее как можно дальше, потому что непременно там вас будут поджидать, надеясь, что вы возвращаетесь в свою нору как заяц. Вот пред вами Сенская улица, на краю ее река. Ступайте не оглядываясь и поместитесь на сегодняшнюю ночь в каком-нибудь неизвестном уголке, в какой-нибудь гостинице по другую сторону реки, перемените свое имя и, если можете, переоденьтесь, даже на некоторое время измените черты вашего лица так, чтобы, если вас встретят, вас нельзя было узнать. Осторожность не низость. Особенно же не возвращайтесь в Валь де Грас вечером и в тот же час.

– Есть женщины очень хорошенькие и в Париже, – нравоучительно прибавил граф де Морэ.

Молодой барон де Поанти, глубоко тронутый подобною заботливостью со стороны такого человека, как герцог де Монморанси, слушал советы с почтительным вниманием, но при последних словах он не мог удержаться от удивления.

– Единственный способ, который находится в моей власти выразить вам мою признательность, это последовать вашим советам. Я последую им сейчас всем, кроме последнего, то есть

чтобы прекратить мои прогулки каждый вечер в Валь де Грас. Мне невозможно отказаться от этих прогулок.

– За эту любовную интригу, молодой человек, вы заплатите, может быть, вашей жизнью.

– Клянусь вам, монсеньер, что во всем этом нет ни малейшей любви. Позвольте мне спросить, что заставляет вас это думать?

– То, что мы слышали собственными ушами, граф де Морэ и я. Тот, кто так щедро заплатил пятьдесят пистолей за то, чтобы вас убили, не кто иной, как соперник, которого вы опередили.

– Я?

– Нарцис-Дезирэ Пасро, первый клерк прокурора Гриппона. Я очень хорошо помню все эти имена.

– Жених Денизы, дочери садовника в Валь де Грас, – прибавил Морэ, – которая за ту неделю, как она любит вас из окна, сделалась так холодна к прокурору, что в нем не осталось ни малейшего сомнения, и он смертельно возненавидел вас.

– Притом, – сказал герцог, – он сам говорит, что целую неделю наблюдает за вами, спрятавшись за недоконченными стенами нового монастыря.

– Клянусь вам, господа, что я не знаю ни девицы Денизы, ни господина Пасро и что я никогда их не видел. Отправляться каждый вечер в Валь де Грас меня заставляет очень важная причина, которой девица Дениза, как бы ни была она хороша, совершенно чужда. С Пасро же, если это был он, вошедший позади меня сегодня вечером в гостиницу на улице Фору со своими друзьями, товарищами того, кого вы называете Лафейма, я объяснюсь, если опять с ним встречусь.

– Барон де Поанти, – возразил герцог, – я не настаиваю на опасности, которая угрожает вам, если вы станете продолжать ваши прогулки в Валь де Грас. Вы предупреждены. Но если причина, которая приводит вас туда, не очень важна, бросьте это.

– Если бы тайна этой причины принадлежала мне, вы знали бы уже ее; к несчастью, она принадлежит не мне, и я должен отвечать на все ваши одолжения недостатком доверия. Простите мне.

– Вы очень милый молодой человек, и мне нечего вам прощать. Если случится, что люди, которые хотят погубить вас, станут слишком к вам приставать, войдите в отель Монморанси и спросите меня, сказав ваше имя.

Герцог дружески поклонился молодому человеку, и между тем, как тот шел по Сенской улице, направляясь к Новому мосту, он и Морэ вернулись назад.

– Какое странное приключение! – сказал Морэ. – И как раз кстати для моего милого брата Гастона. Он просил у нас час, чтобы победить добродетель госпожи де Комбалэ, а вот по крайней мере уже два часа, как он у своей красавицы. Другому довольно было бы и десяти минут, но ему недостаточно двух часов.

– Ах! Морэ, друг мой, что мы сделали? – сказал герцог. – Гастон требовал, чтобы я запер за ним дверь, в которую он мог выйти, потому что он располагал остаться недолго, и вот уже больше двух часов, как он, может быть, желает уйти. А что, если кардинал вернулся?

– *Ventre-saint-gris!* – вскричал сын Беарнца, расхохотавшись. – В каком положении находится его высочество, когда он дрожит от малейшей безделицы! Кардинал способен обвинить его в насилии над праведной особой его племянницы и, пожалуй, потребует брака, как необходимого вознаграждения.

С этой мыслью, которая, как она ни казалась нелепа и смешна, была, однако, гораздо серьезнее, чем они думали, друзья ускорили шаги, чтобы освободить герцога Анжуйского, бывшего в плену у госпожи Комбалэ.

Мы увидим впоследствии, как невинный принц употребил свое время и как замысловато воспользовался способом, которому его научил герцог, чтобы поскорее победить свою набожную красавицу.

Теперь же нам надо вернуться в отель Шеврез, где мы оставили кардинала Ришелье в ту минуту, когда он входил туда так таинственно и в таком костюме, который несколько не согласовался с серьезностью характера и с высоким положением государственного человека.

V

ГДЕ МОЖНО ВИДЕТЬ ЛИСИЦУ, ПОПАВШУЮ В ЗАСАДУ К ЛАСКЕ, И КАРДИНАЛА, ТАНЦУЮЩЕГО САРАБАНДУ

Причины ночного посещения кардинала герцогини де Шеврез принадлежат истории. Происшествия, совершившиеся в тот вечер в отеле Шеврез, и последствия которых никто из действующих лиц, за исключением, может быть, кардинала, зоркий взгляд которого проникнул покров будущего, не был способен предвидеть, равно принадлежат истории. Они имели на царствование Людовика XIII и, следовательно, на судьбы Франции влияние прямое, как ни было оно тайно. Как ни невероятны могут показаться эти происшествия с первого взгляда, соображая характер и положение действующих лиц, они чрезвычайно точны. Притом они так связаны с ходом этой драмы, которая шаг за шагом следует за историей, что чрезвычайно интересно проследить их с самого начала. Поэтому, оставив на минуту кардинала в отеле Шеврез, мы воротимся на неделю назад от того дня, когда начинается этот рассказ, и перенесемся в Лувр, в комнату Анны Австрийской, жены Людовика XIII.

В большем луврском павильоне, на втором этаже, длинный ряд комнат, изобильно украшенных живописью, скульптурой, позолотой и мрамором с инкрустациями, составляли апартаменты королевы. Но Анна Австрийская предпочитала роскоши, окружавшей ее, изящную простоту ванной, находившейся в нижнем жилье, в маленьком луврском саду, у входа на мост Вздохов. Там-то, скучая супружеским союзом, несколько не привлекательным для нее, она поверяла свою печаль герцогине де Шеврез, своей фаворитке.

Анна Австрийская, испанка, женщина и королева, то есть мстительная втрое, ненавидела министра, который не переставал вредить ей в глазах короля, ее супруга. При дворе все известно, и королева знала все. Она знала, что, испугавшись влияния молодой и прекрасной королевы, которое не могло не вредить неограниченной власти, которую он хотел иметь над волею монарха, кардинал с первого дня принялся охлаждать постепенно склонность, которую Людовик XIII имел к ней, то возбуждая в мыслях от природы ревнивого короля несправедливые подозрения, оскорбительные для ее добродетели, то лицемерно обвиняя ее в сношениях, вредивших интересам Франции.

Но Ришелье, развратный прелат, не имел столько власти над собой, чтобы скрыть впечатление, которое прелести королевы произвели на него; он осмелился поднять глаза на свою государыню; он имел дерзость отважиться на полупризнание, которое было постыдно отвергнуто. Тогда Анна все поняла. Она поняла, что Ришелье надеялся при помощи своего вероломства, искусно рассчитанного, поставить ее в полную зависимость от него, отняв у нее ту долю власти, которая достается женам королей, чтобы заставить ее платить ему своим тайным расположением за тот доступ к могуществу, который она могла получить только через него. Гордая дочь Филиппа III предпочла тогда лишиться власти, чем подчиниться унижительному игу министра; она выбрала одиночество, в котором она живет, почестям, которые отмеривала бы ей рука дерзкого подданного.

Но ненависть ее увеличилась. Испанская злоба, этот веред сердца, беспрестанно растрavляемый временем, пожирал ее день и ночь, и она была счастлива только в то время, когда изливала желчь в признаниях своей фаворитке. Почти каждый вечер проходил в этих разговорах, которые веселость герцогини де Шеврез делала иногда утешительными.

В этот вечер Анна Австрийская по привычке, заимствованной испанцами от мавров, сидела на бархатных по душках; одной рукою обняла она герцогиню де Шеврез. Королева была в зеленом атласном платье, вышитом золотом и серебром, с висячими рукавами, прикрепленными тремя большими бриллиантами. Из-под маленькой зеленой бархатной шапочки с соко-

линым пером выбиваются локоны густых светло-русых волос, тем более изумительных, что они редко встречаются у испанок.

Анне Австрийской было двадцать три года; она находилась во всем блеске той красоты, слава которой наполняла Европу. Для тех, кто имел счастье видеть ее близко, дерзость кардинала была извинительна; все готовы были бы разделить ее. Тем непонятнее была холодность Людовика XIII к такой замечательной красавице. Никакие человеческие причины не могут извинить ее.

– Как! Герцогиня, – говорила королева, – неужели вы думаете, что кардинал не отказался от своих дерзких притязаний?

– Право, я осмелилась бы это утверждать, – отвечала герцогиня, – кардинал упорный любезник. Он вбил себе в голову понравиться вам и не откажется от этого намерения.

– Какая дерзость от подобного человека!

– Я читаю ясно этот характер, хитрый и лицемерный. В политике Ришелье проведет самых искусных, но во всем, что касается любви, он далеко не так опытен. Я сама забавлялась не раз его неловкостью, делая вид, будто потакаю его наклонности.

– Вы, герцогиня?

– Никого нельзя так легко обмануть, как кардинала, когда он пускается на любовные предприятия, что случается часто, потому что он так же развратен, как и лицемерен. Хитрости женской слабости не под силу этому коварному дипломату; одураченный нашими хитростями, одураченный своим собственным тщеславием, он попадает в самые грубые сети. Ведь он и за мною также ухаживал. И сколько раз, никогда не отвергая его и никогда не удовлетворяя, я заставляла этого гордого министра унижаться до самой смиренной слабости. Когда ваше величество спрятались в одной из моих комнат, вы изволили видеть, как он ухаживал за мною, переодевшись кавалером, со шпагой на боку и с перьями на шляпе?

– Это правда, герцогиня, и я много смеялась. Но это все равно. Помните, пожалуйста, что вы должны запретить ему приходить ко мне. Его дерзкая любовь для меня еще нестерпимее его неприязни, и подобная смелость приводит меня в такое негодование, что я хочу рассказать об этом королю и потребовать от него мщения.

– Да сохранит Бог ваше величество от подобного намерения! – вскричала герцогиня. – Могущество кардинала-министра основано на таких огромных услугах, оказанных государству, что было бы неблагоприятно открыто нападать на него.

– Но что же тогда делать? Как отомстить за его оскорбления? Как его уничтожить? Как унижить?

– Уничтожить его нечего и думать; поверьте мне, ваше величество, он теперь могуществен, и больше потеряешь, чем выиграешь, стараясь повредить ему. Впоследствии, может быть, можно будет решиться на это. А унижить его – это другое дело. Надо сражаться с ним нашим женским оружием, веерами, булавками, надо унижить его нашим пренебрежением, нашим сарказмом.

Герцогиня прервала себя жемчужным смехом, который не могло удержать присутствие королевы.

– Чему вы смеетесь? – спросила Анна, удивленная этой внезапной веселостью.

– Простите меня, ваше величество, но мне пришла такая смешная мысль; если ее привести в исполнение, она так хорошо за вас отомстит!

– Кардиналу?

– Да.

– Скажите, Мария, скажите скорее. Все, чем можно отомстить за меня этому гадкому человеку, будет с готовностью принято.

– Этот гадкий человек тщеславен больше всех на свете, сверх того он влюблен; этого более чем достаточно, чтобы провести его так, как захочешь. Если вы, ваше величество, дадите

мне позволение, я берусь заставить его переодеться из любви к вам, как он уже переодевался из любви ко мне. Только вместо того, чтобы заставить его нарядиться в простое платье кавалера, я хочу заставить его надеть костюм более смешной – тот, в котором Панталоне является на подмостках сен-жерменской ярмарки.

– Ах, герцогиня! Кардинал слишком хитер, чтобы попасть в подобную засаду.

– Я берусь поймать его. Через неделю, если вы согласитесь, я вам представлю прелата в шутовском костюме.

– Право, герцогиня, я не знаю, должна ли согласиться на эту шутку, – нерешительно сказала королева.

– Зачем же вашему величеству лишать себя такого удовольствия? Я уверена, что если хорошо разыграть эту игру, то она доставит вам многое.

– Она, может быть, более будет мне стоить?

– Кардинал не может же увеличить неприятности, которые он вам наносит.

– Это правда, – с горечью сказала королева.

– Неужели вы думаете, моя благородная государыня, что он захочет когда-нибудь переменить эту печальную и уединенную жизнь, которую он так зло устроил вам, обманывая короля, на ту, на которую вы имеете право, если он не будет к тому принужден?

– Я знаю, что он никогда не сделает этого добровольно.

– Вот почему и надо его принудить. Приближающаяся свадьба Генриэтты Французской и нового английского короля подаст повод к великолепным празднествам, где вы должны появиться во всем вашем блеске. Самые благородные вельможи лондонского двора уже приехали и ждут приезда герцога Букингема, любимца Карла I, самого красивого, самого изящного, самого великолепного из вельмож.

– О нем говорят много хорошего, – задумчиво заметила Анна, – вы его видели, герцогиня?

– Да, когда я ездила с герцогом де Шеврезом в первое его посольство к лондонскому двору, я несколько раз видела герцога и, признаюсь, никогда не встречала такого очаровательного кавалера. Ах! Моя прекрасная государыня, вот какого супруга нужно бы вам!

– Молчите, герцогиня, – строго сказала королева.

– Я молчу. Позвольте мне только прибавить, что если вы не найдете способ действовать против кардинала, он найдет средство лишить вас лучшей части этих празднеств, где присутствие возле вас блистательного герцога Букингема было бы для него ужасною мукой.

– Я уверена заранее, что он непременно это сделает.

– А если ему этого захочется, вы должны иметь в руках довольно могущественное оружие, чтоб преодолеть это желание.

– Какое же, герцогиня?

– Объяснение в любви, написанное его рукой, которое я берусь от него достать.

– Кардинал никогда этого не сделает, – сказала королева.

– Он так влюблен, что способен на все.

– Стало быть, я должна сделать вид, будто поощряю его безумную дерзость?

– Вовсе нет. Достаточно будет для вас насмехаться над этим. Остальное касается меня.

– Полагаюсь на вас, герцогиня. Я готова на все, чтоб иметь средство обнаружить в глазах короля, моего супруга, коварство его министра.

Герцогиня де Шеврез, получив позволение действовать, тотчас принялась за дело. Мария де Монбезон, вдова коннетабля, герцога де Люина, а теперь герцогиня де Шеврез, принадлежала к дому Роганов, кичащемуся своей знатностью. Родившись для интриг, которые вместе с любовью были занятием и целью ее жизни, прехорошенькая, остроумная, ловкая, она ни на минуту не могла поддаться опасению, которое внушало всем колоссальное могущество кардинала. План, придуманный ею, доказывал, что она была способна пренебрегать и гневом его, и

могуществом. Притом, чтоб не быть от него в зависимости, она уже несколько раз притворялась, будто без гнева слушает его нежные признания, зная, что хорошенькая женщина, выказывающая снисхождение, повелевает самыми сильными.

Кардинал, человек такой хитрый и двуличный, привлеченный и обманутый ее ловким кокетством, был убежден, что пользуется полным расположением герцогини. Но скоро глаза его должны были открыться. Он должен был попасть в самую грубую западню, какая только расставлялась мужчине.

Ришелье редко пропускал несколько дней, не являясь к герцогине. Когда он явился в отель Шеврез, вместо того, чтобы принять его в большой гостиной, где обыкновенно она его ждала, она велела сказать, что занята своими нарядами и просит у него позволения принять его в своей уборной. Бесполезно говорить, с какой поспешностью волокита-прелат принял это предложение.

Предаваясь до сих пор необузданно любви, потому что ее политические интриги, начавшиеся, так сказать, с этого дня, еще занимали очень мало места в ее жизни, герцогиня де Шеврез сделала из своей комнаты святилище божества, которому она поклонялась. Ее спальня, украшенная с замысловатым старанием, дышала любовью. Только один вид этого храма, достойного Венеры, был достаточен, чтобы заставить влюбиться самого холодного человека. Людовику XIII следовало бы проводить тут двенадцать часов из двадцати четырех. Но Ришелье никогда не следовало бы туда входить, потому что Ришелье был тогда не таков, каким нам его представляют обыкновенно, – дряхлым стариком, с разбитым телом, слабым голосом, распростертым в большом кресле, как в преждевременной могиле, живущим мыслью и воспоминанием. Ришелье не было еще сорока лет. Стан у него был прямой, физиономия надменная, лоб широкий, глаза пронизательные, и, хотя волосы и усы начинали уже седеть, он находился во всей силе и во всем пылу своих страстей. Вид всего окружающего должен был окончательно заставить его лишиться рассудка. Постель герцогини возвышалась на возвышении, к которому вели три ступени, покрытые персидским ковром с цветами, такими свежими и яркими, как те, которые растут в саду. Кровать была из эбенового дерева с инкрустациями из яшмы, перламутра и халцедона. Четыре колонны, украшенные ляписом и золотым песком, поддерживали балдахин из голубого штофа с черными бархатными разводами, с которого спускалась богатая серебряная бахрома, и занавески из такой же материи, расположенные волнистыми складками, на которые был наброшен китайский газ, прозрачность которого позволяла видеть узоры, покрываемые его легкой тканью, были прикреплены к колоннам балдахина тяжелыми шнурками с серебряными кистями. Комната была украшена богатыми обоями с серебряными и золотыми арабесками. Спинки кресел были резные, с золотыми полосками на красном грунте. Стулья были обиты золотистой кожей с длинной шелковой бахромой, прибитой позолоченными гвоздями. Наконец, под венецианским зеркалом в позолоченной раме стоял шкафчик с агатовыми колоннами, где инкрустации из коралла, яшмы, сердолика, ляписа и золотоискра окружали эмалевые картины драгоценной работы, представляющие каждая различную сцену, где любовь и все ее атрибуты играли первую роль.

– Ваше преосвященство позволит мне пришить еще этот бант? – спросила герцогиня, увидев кардинала, входившего в ее комнату, и делая горничной знак оставить ее.

– Непременно, герцогиня; дело прежде всего, – любезно отвечал прелат. – Если б я занимался с посланником в ту минуту, когда вы удостоили меня посещением, я попросил бы у вас позволения покончить с ним, чтобы иметь возможность заняться вами вполне. А в дамской дипломатии зеркало – посланник, которого они никогда не заставляют ждать.

– Хорошо, если оно может помочь нам сделать что-нибудь приятное для наших повелителей.

– Вы удивились бы, прелестные дамы, если б этим повелителям не было лестно обожать вас на коленях.

– Однако не всегда бывает так, и я имею доказательство, что самая великолепная красавица иногда повинуетя очень жестоко, вместо того чтобы приказывать, как королева, например.

– Увы! – отвечал кардинал, лицемерно подняв глаза к небу и с глубоким вздохом. – Вы коснулись, герцогиня, струны, болезненно звучащей в глубине моего сердца. Бог мне свидетель, что я принимаю большое участие в страданиях королевы, но вы знаете Людовика XIII, его жесткий характер, его предубеждение против королевы, от которого я не мог его излечить. Анна Австрийская может выйти из немилости, только дав наследника своему августейшему супругу, но, к несчастью, это невероятно.

– Право, кардинал, для великого политика эти причины весьма плохие. Что скажете вы о государстве, которое, употребив неловкого или бессильного посланника, станет жаловаться на неудачный результат переговоров? Я знаю королеву и душевно, и телесно, и если потомство Людовика XIII еще не является, я не боюсь утверждать громко, что в этом виноват только он.

– Это важный государственный вопрос, – сказал первый министр со всей серьезностью, с какой он занимался важными делами, – я хочу, так как представился случай, поговорить с вами об этом важном предмете.

– Я слушаю ваше преосвященство с полным вниманием, – сказала герцогиня, которая, не подавая ему ни малейшего подозрения, умела навести разговор на тот предмет, которого она желала.

– Вы знаете, – продолжал кардинал, разменяя свои выражения с бесполезным старанием, – в каких руках уже два года находятся бразды правления, чья воля внушает страх иностранным государям, кем честолюбивые агитаторы доведены до бессилия; словом, вы давно знаете человека, которому Господь дал силу и разум, необходимые для поддержания благосостояния государства и славы его величества.

– Я знаю, кардинал, сколько вы сделали для Франции и как вы заботитесь о счастье короля.

– Мудрость моего государя способствовала успеху моих предприятий, потому что его величество удостоил соединить в руках своего смиренного слуги все нити высшей власти, не исключая ни одной. Для того чтобы вернуть королеве расположение ее августейшего супруга, потребно мое содействие, но, к несчастью, я имею свою долю человеческих слабостей и не мог остаться нечувствителен к божественным прелестям ее величества; но как заставить королеву изменить свою холодность ко мне? Вы одна, герцогиня, ее поверенная и друг, можете сделать это чудо и оказать услугу Франции и кардиналу.

– Я готова служить вашему преосвященству, но не скрою от вас, что королева имеет против вас ужасное предубеждение.

– Знаю! – сказал кардинал, со вздохом отирая слезу, которой не было.

– Не ваша ли это вина? Как вы, такой искусный, такой тонкий, такой глубокий знаток слабостей нашего пола, можете надеяться понравиться женщине молодой, кокетливой, впечатлительной, влюбленной в изящное и красивое, показываясь ей всегда в этой противной красной рясе, в темной шапочке на голове и со лбом, вечно согбенным тяжелой озабоченностью министра?

– Правда, – сказал наивно кардинал, – строгая одежда прелата вовсе не выгодна для ничтожных совершенств, полученных от природы.

– То есть она просто ужасна. Можно ли догадаться, ловкий ли мужчина или жалкий горбун скрывается под нею? Поверите ли вы, кардинал, что, несмотря на ваше высокое звание, я сама благосклонно взглянула бы на вас, если бы видела вас в костюме не столь жалком?

– Я помню, что для вас заменил однажды эту красную сутану ловкой одеждой кавалера.

– Она еще не довольно ловка. Я недавно в театре видела костюм, который непременно выбрала бы, будь я мужчина. Королева без ума от него.

– Какой же это костюм, герцогиня?

– Костюм Панталоне. Я не знаю ничего грациознее для хорошо сложенного мужчины. Почему бы не воспользоваться вам карнавалом и не показаться ее величеству в этом костюме?

– Что это вы, герцогиня!

– Ах, извините! Я забыла. Ваше преосвященство потеряет в этом как великий министр то, что выиграет как ловкий кавалер. Королева, обманутая этим костюмом, может принять вас за настоящего Панталоне.

– Я этого не боюсь, – отвечал кардинал, задетый за живое в своем тщеславии. – Во всяком платье я всегда остаюсь Ришелье.

– Так, сумасбродная мысль пробежала в голове моей, я прошу вас простить мне. Перестанем об этом говорить.

– Почему же, герцогиня? Ваша мысль не так сумасбродна, как может показаться, и я принял бы ее, если б знал, что ужоу ее величеству, но ее привести в исполнение нельзя.

– Это как?

– Могу ли я явиться в Лувр в костюме Панталоне?

– Только это? Я знаю вкус Анны Австрийской и попрошу ее быть завтра, например, к чаю в моем отеле; вы будете у меня, и это сумасбродство, если только это сумасбродство, будет тем приятнее ее величеству, что на челе вашем она не увидит той суровой тучи, которая пугает ее.

– Если последнее замечание решает все и если бы не опасение посмеяния...

– Посмеяние может быть, только когда не нравишься, а я уверяю вас, кардинал, что это доказательство страсти с вашей стороны понравится...

– Я был бы так счастлив, что не поверить вам не могу. Да, если вы говорите правду и королева наконец преодолит несправедливые предубеждения, пронзающие мне сердце, и согласится видеть во мне усерднейшего и преданнейшего слугу, тогда, герцогиня, она начнет царствовать действительно, и если Господь призовет к себе Людовика XIII, регентство ей будет обеспечено.

– Итак, до завтрашнего вечера.

– Хорошо, герцогиня, до завтра, но под покровом непроницаемой тайны.

– Только королева и я будем в моем отеле. Я нарочно удалю всех. Доверенная камеристка, которая, впрочем, вас не знает, будет ждать вас у калитки, выходящей на улицу Сен-Томас. Интересы королевы и ваши требуют величайшей тайны.

– До завтра, герцогиня.

– До завтра, кардинал.

Ришелье вышел из отеля Шеврез вне себя от радости и надежд. Ему уже казалось, что он сжимает в своих честолюбивых объятиях гордую дочь Филиппа III. А между тем он должен был сделаться игрушкой женщины, запутавшись в интригах такого рода, где, как говорила герцогиня, этот великий политик делался жалким школьником.

На другой день после этого разговора он явился в отель герцогини де Шеврез. Герцогиня приняла его в дверях своей уборной, смежной со спальней.

– Только государственные люди так аккуратны, – сказала она. – Вы лучше вашей репутации. Я думала, что вы обещаете только для того, чтобы не сдерживать обещания.

– А королева? – с жадностью спросил Ришелье.

– Она там.

Герцогиня указала на дверь комнаты, закрытой большой штофной портьерой.

– Одна?

– Совершенно одна.

– Вы ее предупредили?

– Без сомнения.

– А как она приняла это необыкновенное доказательство моей любви?

– Без гнева. Чего можете вы желать более, пока не сделаете ей искреннего признания в ваших чувствах?

– Я готов сделать это признание, герцогиня.

– О! Не так скоро, кардинал; слишком большая поспешность будет вредна. Наслаждайтесь сегодня торжеством, которое вы получите непременно; расположите ее величество видеть вас с удовольствием, желать вашего присутствия, и потом ждите. Я знаю Анну Австрийскую. Ей не может признаваться в любви даже кардинал и министр, как простой мещанке.

– Я полагаюсь на вас, герцогиня.

– Очень хорошо.

– И сделаю с закрытыми глазами все, что вы скажете мне.

– Нельзя быть послушнее, зато вы не расклетесь в этом, кардинал. Вы в костюме Панталоне?

– В полном комплекте с головы до ног, – отвечал Ришелье, распахивая плащ.

– Хорошо! Панталоны из зеленого трико, полукафтанье из желтого бархата, пояс из буйволово́й кожи с большой пряжкой, у колен серебряные колокольчики, в руках кастаньеты; очень хорошо. Но вы забыли взять остроконечную шапку с погремушками.

– Вот она, – сказал кардинал, вынимая эту смешную шапку из-под плаща.

– Прекрасно. Теперь снимите эту длинную шпагу, которую вы, верно, взяли, опасаясь воров, и позвольте мне причесать вас перед моим зеркалом.

Кардинал послушно снял плащ и шпагу, потом, доверяясь хорошеньким и нежным ручкам, которые хотели заняться его прической, сел за туалет, уставленный множеством позолоченных и хрустальных флаконов. Герцогиня де Шеврез серьезно надела на него шапку Панталоне и кокетливо поправила своими тонкими пальчиками его волосы.

– Вы очаровательны, – сказала она, – никто не узнает в вас могущественного и строгого министра Людовика XIII.

– Этот костюм очень смешон, – сказал кардинал, бросив в зеркало на свою фигуру жалобный взгляд, – но, – прибавил он в виде утешения, – из самых странных причин выходят иногда величайшие результаты.

– Я не спрашиваю вас, кардинал, умеете ли вы танцевать сарабанду.

– Как! Сарабанду? Для чего вы задаете этот вопрос?

– Потому что Панталоне без сарабанды не годится никуда. Неужели вы думали, что вам не придется танцевать?

– Танцевать! Я совсем не умею танцевать, герцогиня.

– Я этому не верю. Министр всегда знает все, даже то, чего он не знает.

– Но я не только министр, герцогиня, я кардинал, а танцы не входят в образование прелата.

– Но они входят обыкновенно в образование дамского угодника. Если вы, как говорите, хотите угодить королеве, вы непременно должны танцевать.

– Ну если танцевать необходимо, я сделаю что могу, – сказал кардинал со вздохом.

– Люблю эту благородную уверенность в себе; она всегда ручается за успех. Пойдемте, ваше преосвященство, я доложу о вас королеве.

– Хорошо, герцогиня, объясните ей опять, что только сила моих чувств заставила меня решиться разыграть эту роль.

– Эти объяснения, кардинал, гораздо лучше будут приняты от вас. Когда я три раза хлопну в ладоши, войдите, раздвинув эту портьеру, и я надеюсь, что эффект, который вы произведете, будет изумителен.

Герцогиня де Шеврез поспешно убежала в спальню, где королева ожидала странного зрелища, приготовленного ее фавориткой. Кардинал, стоя в дверях, удерживая дыхание, чтобы лучше услышать условленный знак, рассуждал сам с собою:

«Что подумали бы серьезный посланник Филиппа IV и горделивый министр Якова I, если бы увидели меня в шутовском костюме, ожидающим приказа женщины, чтобы разыгрывать смешную роль? Они стали бы насмехаться над моей слабостью, но, может быть, в этом сумасбродстве есть столько же мудрости, сколько и в самых глубоких соображениях моей министерской обязанности».

Послышался сигнал. Ришелье, быстро отдернув портьеру, устремился в комнату. Но это был не Ришелье, а Панталоне, шутовское лицо на итальянской сцене. Он принял позу полукомическую-полуграциозную, колокольчики у колен его зазвенели, кастаньеты на руках забренчали. Анна Австрийская и ее лукавая фаворитка громко захохотали. Самый хитрый человек во всем королевстве попал в грубую засаду. Герцогиня де Шеврез, сидя за клавикордами, заиграла прелюдию модной сарабанды, между тем как королева, раскинувшись на диване, смеялась.

– Ну, синьор Панталоне, мы вас ждем, – сказала герцогиня, – начинайте.

При этих словах послушный прелат выставил ногу, сложил руки, сладко улыбнулся и начал показывать всю грацию, какую только кардинал может выказать в балете, и наконец запыхавшись, с лицом, орошаемым потом, упал к ногам королевы.

– Ваше величество, – сказал он голосом задышающимся, но звучащим, однако, любовью, – поверите ли вы теперь моей почтительной преданности? Будете ли еще думать, что я не способен сделать ничего в угождение вам?

– Кардинал, – отвечала Анна Австрийская, отводя разговор от того направления, которое Ришелье хотел ему дать, – уверяю вас, что вы восхитительно танцуете сарабанду.

– Если б вы не были кардиналом, вам следовало бы быть танцовщиком, – прибавила герцогиня.

– Я был бы рад сделаться всем, чего пожелали бы вы, ваше величество, только бы вы не требовали от меня равнодушия к вашим восхитительным прелестям.

– Теперь вы любезничаете, – сказала королева, смеясь, – этого качества я в вас не знала, кардинал.

– У красавицы всегда есть обожатели! – с жаром ответил кардинал. – Их блеск ослепляет, обладание ими приводит в упоение, даже если о нем только мечтаешь.

– Синьор Панталоне, – сухо сказала королева, – кажется, ваша роль увлекает вас слишком далеко.

– Вашему величеству следует быть снисходительной к его преосвященству, – поспешила сказать герцогиня де Шеврез, испугавшись, что королева забывает о своем обещании настолько поощрить влюбленного, чтобы от него можно было вырвать письменное доказательство его страсти, – во время карнавала и в маскарадном костюме влюбленные имеют право говорить все.

– Если преимущество карнавала позволяет жечь у ног вашего величества фимиам горячей страсти, – продолжал кардинал, бросив на вероломную герцогиню признательный взгляд за ее помощь, – я хотел бы, чтоб это счастливое время года продолжалось всегда.

– Я вижу, кардинал, – сказала королева, – что не должна сердиться на ваши слова, но с условием, что вы прекратите шутку, слишком долго продолжавшуюся.

– Это вовсе не шутка! – вскричал смелый кардинал, осмелившись поцеловать руку, которую не отдернули, но которую непреодолимое отвращение тотчас заставило судорожно задрожать.

– Довольно, кардинал, – сказала Анна Австрийская, гордость которой не могла более выдержать, – вы как первый министр настолько умны, что не можете не понять, что я не могу слушать более.

Она встала.

– Милая Мария, – сказала она фаворитке, – велите подавать мою карету. Всякое удовольствие должно иметь конец. Прощайте, кардинал; я не забуду того удовольствия, которое вы доставили мне сегодня, хотя вы немножко его испортили слишком смелыми словами.

Когда королева уехала, кардинал и герцогиня де Шеврез остались одни; первые слова, произнесенные ими, были двойным вопросом:

– Ну, кардинал?

– Ну, герцогиня?

– Вы довольны?

– Доволен, герцогиня. Ее величество была ко мне сегодня любезнее обыкновенного, хотя еще далеко от того, как я хотел бы видеть ее.

– Вы слишком спешите, кардинал, и я нахожу, что королева превзошла все, чего я ожидала от нее, и очень рада, что моей предусмотрительной дружбой принудив вас последовать моему совету, я дала вам возможность сделать столько успехов в ее внимании.

– Это правда, герцогиня. Совет ваш был хорош, и я вечно буду вам признателен за оказанную мне услугу. По милости вашей я в первый раз мог говорить о моих чувствах ее величеству.

– По милости моей и вашего костюма. Теперь хотите, чтобы я откровенно сказала, что вам остается делать?

– Скажите, герцогиня.

– Надо написать к королеве.

– Написать к королеве? Мне! – сказал кардинал, устремив проницательный взгляд на герцогиню де Шеврез.

– Не думаете ли вы, что я хочу вас компрометировать? – сказала вероломная герцогиня, которая, угадав недоверие министра, почувствовала необходимость опередить его подозрение.

– Нет, герцогиня, я этого не думаю, но к чему писать?

– Я предполагала вас опытнее в любовных предприятиях, мой бедный кардинал, – сказала герцогиня с оттенком иронии, которая подстрекнула самолюбие прелата. – К чему писать? Вот вопрос школьника. Неужели вы надеетесь, что ее величество поручит мне завтра привести вас к ней, или вы рассчитываете, что она напишет к вам первая и будет просить обожать ее?

– Я никогда не имел подобной надежды.

– Жаль! Я вижу, что вам лучше известны тайны политики, чем сердце и ум женщин.

– Герцогиня!

– Сердитесь сколько хотите, но вы не помешаете мне смеяться над вашим простодушием.

Герцогиня бесцеремонно откинулась на спинку кресла и громко захохотала в лицо сконфуженному кардиналу.

– Поговорим серьезно, кардинал, – продолжала она, – вы сказали мне, что если ее величество согласится отвечать на ваши нежные чувства, то вы постараетесь возратить ей власть, которой уже десять лет лишена она так жестоко, и с того дня она начнет царствовать.

– Это правда, герцогиня. Это будет, даю вам слово Ришелье.

– Стало быть, из дружбы к королеве, которую я люблю более всего, потом и для моих собственных выгод, потому что как фаворитке Анны Австрийской мне достанется часть ее власти, вы согласитесь, что я должна желать окончания предприятия, так хорошо начатого вами сегодня?

– Согласен. Ваши выгоды связаны с моим успехом.

– Следовательно, я имею право вам закричать «Остерегайтесь!», если увижу, что вы сбиваетесь с пути?

– Это ясно.

– Я обязана вам советовать?

– Советуйте же мне, герцогиня.

– Напишите королеве. Куйте железо, пока оно горячо, не дайте ему остыть; впечатление, произведенное вами, хорошо, не дайте ему изгладиться.

– Я думаю, что вы правы, герцогиня, – сказал Ришелье, скрывая улыбку.

– Отдайте мне ваше письмо. Я сама передам его королеве.

– Отдам.

– Стало быть, это решено.

Кардинал взял в уборной герцогини шляпу и шпагу, закрыл широким плащом костюм Панталоне и расстался с герцогиней де Шеврез. Мы оставим его возвращаться домой, не стараясь проникнуть в глубокие и бурные мысли, возбужденные в его деятельном уме происшествиями этого вечера, и, опередив его, отправимся в Люксембургский дворец к молодому герцогу Анжуйскому и к племяннице кардинала, госпоже де Комбалэ.

VI

ПЛЕМЯННИЦА КАРДИНАЛА, ЖЕЛАЯ ДАТЬ ПЕРВЫЙ УРОК ЛЮБВИ ЮНОШЕ, С УДИВЛЕНИЕМ УЗНАЕТ, ЧТО УЧЕНИК ОПЫТНЕЕ В ЭТОЙ ИГРЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬНИЦА, И ЭТО ЕЕ НЕ ОСКОРБЛЯЕТ

В это время Малый Люксембургский дворец, который кардинал Ришелье начал строить несколько лет тому назад, когда еще был простым епископом Люсонским и суперинтендантом бывшей регентши Марии Медичи, еще не совсем был освобожден от соседства домов, которые впоследствии послужили к его увеличению. Некоторые из этих домов, однако, были уже куплены кардиналом и в ожидании того, когда они сольются с дворцом или с его службами, употреблялись для разных назначений. Сад одного из них, конец которого до улицы Гарансьер был превращен в великолепные оранжереи, где Ришелье начал собирать с большими издержками сокровища тропических растений, которыми он впоследствии наделил Ботанический сад, одно из чудных созданий, так сказать, его царствования. Эти оранжереи, которые кардинал особенно любил, имели прямое сообщение с его комнатами, и он велел выстроить среди них изящную и богатую гостиную, куда охотно приходил по вечерам отдыхать от государственных забот в обществе своей очаровательной племянницы. Хотя злые языки иногда ошибаются, однако на этот раз они были правы, утверждая, что между Ришелье и мадам де Комбалэ, между дядей и племянницей, существовала короткость другого рода, а не та, которая обыкновенно бывает между такими близкими родственниками, Ришелье, лицемер и развратник, как все люди, которых положение ставит вне естественных законов, не отступил перед кровосмешением для удовлетворения своих страстей и рассчитывал на страх, который внушала его власть, непрерывно увеличивавшаяся, чтобы закрыть глаза нескромным или, по крайней мере, рот болтунам. Как видно, это ему удалось только наполовину; но он еще сам не знал, что эту часть его семейных тайн уже узнали, и, обманутый этим неведением, он построил на достоинствах своей племянницы целый план политического поведения, очень искусно задуманный, ожидая только удобной минуты, чтобы обнаружить его. Бесполезно говорить, что госпожа де Комбалэ менее всех знала планы, более или менее политические, которые ее дядя основывал на ней. Лис в красной сутане был слишком осторожен для того, чтобы довериться женщине, не будучи к этому принужден.

В эту-то гостиную среди оранжереи, где обыкновенно происходили ее тайные разговоры с дядей-кардиналом, госпожа де Комбалэ, не будучи дежурною в этот вечер во дворце королевы-матери, пришла ждать его высочества молодого герцога Анжуйского. Теперь можно спросить, какая причина, любовь или честолюбие, заставила госпожу де Комбалэ назначить одно за другим, с настойчивостью, достойной похвал, семнадцатилетнему принцу три свидания, из которых два остались без последствий; мы ответим вместо нее и с большей откровенностью, чем ответила бы она, что ни любовь, ни честолюбие не имели в этом ни малейшей доли. Госпожа де Комбалэ вдова, то есть любительница удовольствий, госпожа де Комбалэ ханжа, то есть вполне желавшая плода вдвойне запрещенного, наконец госпожа де Комбалэ любовница кардинала, то есть очень женщина опытная, подумала, что для нее могло бы быть очень забавно сообщить часть своей опытности простодушному юноше и попробовать, после того как она так долго была ученицей, роль совершенно другую – учительницы. В один день, когда герцог Анжуйский был у своей матери Марии Медичи, госпожа де Комбалэ назначила ему свое первое свидание. Но молодой принц, в котором смелость и мужество не были преобладающими добродетелями, что доказала вся его жизнь, был более испуган, чем обрадован обольстительной перспективой, предлагаемой ему, и не пошел. Другая женщина обиделась бы и отказалась бы от своего намерения, но племянница кардинала отличалась необузданным упорством и при

второй встрече с принцем без всякого стыда назначила ему второе свидание. Второе постигла участь первого. Тогда она назначила третье, и, без сомнения, назначила бы таким образом двенадцать, если бы понадобилось.

К счастью для нее, вечером назначенного третьего свидания принц выпил более обыкновенного, что внушило ему более мужества, потом встреча с кардиналом отняла у него опасение встретить его у племянницы, потом, наконец, он рассказал о своем приключении своему брату Морэ и кузену Монморанси, что не позволяло ему отступить, не сделав себя посмешищем, не считая того, что Монморанси научил его прекрасному средству придать себе храбрости против женского врага – сражаться в темноте, задув огонь. Принц пришел, решившись победить и не погибнуть.

Госпожа де Комбалэ, которая хотела быть одна, поспешила встретить герцога Анжуйского, как только услышала стук отворившейся двери. Надо было показать принцу дорогу, посветить ему и проводить до гостиной. Она явилась ему в темном коридоре, в который он вошел, как блестящая звезда, до того блестящая, что он был ослеплен и остался пригвожден на месте.

Гастон Орлеанский, привыкший к бесцеремонному обращению веселых девиц, которых, несмотря на свои юные лета, каждый вечер посещал у Неве, самой знаменитой куртизанки того времени, был чрезвычайно робок со всеми другими женщинами. Но это было его главное достоинство в глазах герцогини де Комбалэ, которая сгорала нетерпением образовать ученика и не могла бы найти ученика милее. Она бесцеремонно подошла к нему.

– Как! Это вы? – сказала она, притворившись изумленной. – Я еще сегодня не ожидала иметь честь видеть вас.

– Черт побери! Герцогиня, – отвечал наивно Гастон, который счел за лучшее ругаться, чтобы придать себе тон, – признаюсь, что я не пришел бы, если бы не встретил на Новом мосту его преосвященство, который шел в Лувр.

– Дядюшка действительно должен был присутствовать сегодня при игре короля.

– Я сомневаюсь, однако, чтобы его преосвященство сегодня явился на игре моего брата в таком костюме, разве только в Лувре маскарад, о котором я не слышал.

– Что вы хотите сказать, принц?

– Кардинал был сегодня в шутовском костюме, который, как мне кажется, вовсе не идет к его званию.

– Дядюшка в шутовском костюме!

– Да, в желтом полукафтанье, в зеленых панталонах, закрытых широким плащом.

Герцогиня подумала с минуту, стараясь, конечно, угадать, что мог значить такой необыкновенный маскарад. Но угадать поступки такого человека, как Ришелье, было гораздо труднее, чем разобрать многосложные фигуры китайской головоломной игры. Молодая женщина, зная своего дядю и желавшая полезнее и приятнее употребить свое время, скоро отказалась от этого бесполезного упражнения. Она заперла на задвижку дверь, в которую вошел Гастон, потом, любезно обернувшись к нему, сказала, взяв его за руку, чтобы лучше вести в извилинах оранжереи, через которую надо было пройти в гостиную:

– Пойдемте, монсеньор.

Она села на диван, привлекла к себе принца и посадила его возле себя.

Племянница кардинала находилась тогда во всем цвете своей красоты. Блондинка с большими глубокими голубыми глазами, белая, розовая, миловидная, полненькая, она имела чувственные губы, кокетливую улыбку, задорный взгляд, ножки, исполненные обещаний, пухленькие ручки, какие бывают у ханжей, которые по своей теплой влажности и деликатности оттенка как будто имеют свойство электризовать все, до чего прикасаются.

При прикосновении руки, сладострастно сжимавшей его руку, молодой принц почувствовал, как жгучий трепет пробежал по всему его телу; но это не придало ему мужества, и он все

робко потуплял глаза. Она же смотрела на него исподтишка и, наслаждаясь замешательством принца, не хотела прекращать его. К чему ей было торопиться?

– Итак, принц, – сказала она, лаская его голосом и глазами, – вы и сегодня не пришли бы ко мне, если бы не встретили моего дядю? Бедный дядя! Стало быть, вы считаете его очень страшным человеком?

– Но что сказал бы кардинал, если бы нашел меня здесь, возле вас?

– Что сказал бы? Что ему говорить? Его преосвященство счел бы за честь ту милость, которую ему сделал брат короля, посетив его жилище. Мог ли он думать, что вы ведете себя дурно со мной? Разве мы поступаем дурно в эту минуту?

– Конечно нет, – сказал Гастон, покраснев, потому что ему хотелось поступить дурно.

Но, к несчастью, он не смел.

– Если бы нам захотелось, – продолжала ханжа смиренным тоном, – мы были бы должны поскорее прогнать эту мысль, как дьявольское искушение. Я уже почти не женщина, потому что дала обет принять, как только сделаюсь достойна, суровую жизнь кармелиток. А вы, хотя уже великий принц, по летам еще ребенок.

Обиженный Гастон поднял голову. Это слово кольнуло его, как шпоры.

– Боже мой, герцогиня! – сказал он, ища пальцем усы, которых еще не было. – В нашей фамилии дети рождаются взрослыми. Вспомните-ка моего благородного отца, короля Генриха.

– Ах! Ваше высочество, – сказала герцогиня с жеманным видом, который восхитительно к ней шел, – я надеюсь, что вы не во всем похожи на великого Беарнца. Король Генрих IV, говорят, любил всех женщин.

– Разве он поступал дурно, герцогиня?

– Фи! Какой ужас! И кажется, всех вдруг. Если бы он еще любил их одну после другой! – прибавила герцогиня со снисходительной улыбкой.

– Мне хотелось бы подражать ему.

Она пыталась покраснеть, оттолкнула руку принца, которую все еще держала, и отодвинулась в глубину дивана.

– Не говорите этого, – сказала она, потупив глаза. – Вы заставите меня жалеть, что я желала вашего присутствия, а я думала, что вы так благоразумны!

– Я слишком благоразумен, – отвечал Гастон, который, не находясь уже под огнем взглядов, нагонявших на него такую робость, несколько ободрился и начал спрашивать себя, не пора ли исполнить совет кузена Монморанси, храбро потушить свечу и с помощью темноты очертя голову броситься в битву.

Но лакомка до любви недостаточно еще насладились пиршеством, чтобы желать кончить его так скоро. Она подняла глаза на свое лакомое кушанье, что тотчас заставило молодого принца оробеть, и сказала ему чопорно:

– Благоразумие никогда не бывает излишним, и жалеть о нем – значит грешить.

Потом тотчас, чтобы глотком меда заставить забыть горечь этих слов, слишком отзывавшихся будущей кармелиткой, она прибавила тоном нежного упрека:

– Посмотрите, однако, какое я имела к вам доверие! Я не хотела верить всем ужасам, какие говорили о вас около меня; если бы я поверила им хоть на одну минуту, я старалась бы даже не смотреть на вас. Но как предполагать, чтобы в такой молодости, с таким чистосердечным лицом, с таким робким и обольстительным видом, вы таили уже в душе все злодейства страшного негодяя?

Невинный юноша, хотя польщенный до глубины души, думал, что он должен защититься от преступлений, которых он, конечно, не совершал.

– В каких же злодействах меня обвиняют, герцогиня? – спросил он.

– В том, что вы хотите идти по следам великого Беарнца, то есть хотите любить или, по крайней мере, волочиться в одно время за всеми женщинами.

– Я?

– Не волочились ли вы уже за принцессой Марией Мантуйской, дочерью герцога Неверского?

– Уверяю вас, нет, герцогиня.

– Право?

С этим словом, произнесенным бархатистым голосом и тоном искусно взволнованным, герцогиня де Комбалэ опять взяла руку принца, пожала ее и придвинулась на средину дивана.

– О! Это истинная правда, герцогиня! – возразил молодой принц, опять разгораясь.

– А за принцессой Медичи, вашей кузиной? Будьте откровенны, принц. В этом вы не можете отпираться. Видели, как вы ее целовали в один вечер в передней королевы-матери.

Это была ложь, и герцогиня де Комбалэ, сейчас выдумавшая это, знала это лучше всех. Но ханжи выдумывают так хорошо то, что считают для себя необходимым, и лгут так удивительно! Гастон опять возмутился и возразил со всем жаром оклеветанной невинности:

– Черт побери! Это несправедливо, герцогиня.

– Вы ее не целовали?

– Клянусь вам!

– Ни ее и никого другого?

– Ни ее и никого.

Гастон не считал девиц Неве, которых целовал каждый вечер. Герцогиня де Комбалэ радостно вздрогнула, и так сильно, что чуть не свалилась с дивана, и, чтобы не упасть, ухватила за шею принца. Гастон, не видя глаз герцогини, так его пугавших, по той простой причине, что она зажмурилась, перестал трусить и запечатлел продолжительный поцелуй на губах герцогини, а госпожа де Комбалэ, раскрыв глаза, спустилась с дивана на пол и сказала странным тоном упрека:

– А, принц! Вы не первый поцелуй даете таким образом.

Тут Гастон вспомнил совет Монморанси. Он бросился к подсвечнику и задул огонь...

Довольно давно уже глубокое молчание царствовало в гостиной. Вдруг в ушах Гастона раздался голос, который произвел на него действие трубы Страшного суда. Голос этот, подавляемый страхом или осторожностью, произнес только одно страшное слово:

– Дядюшка!

Гастон вскочил, точно его укусила змея.

– Кардинал! – прошептал он.

Вдали у входа в первую оранжерею виднелся длинный силуэт Ришелье. Он шел потупив голову, погружившись в мысли. Свеча, которую он нес в правой руке, освещала его сбоку, и огонь играл черными отблесками на широких складках его длинной красной сутаны, потому что кардинал, возвратясь из ночной экспедиции, переоделся в свою обыкновенную одежду. Принц, при первом взгляде на кардинала, не останавливался проститься с его племянницей; он бросился во вторую оранжерею и, не оглядываясь, проворно пробирался мимо тропических растений, широкие листья которых должны были, как он думал, спрятать его, он шел ощупью, и гораздо удачнее, чем надеялся сам, пробрался сначала в коридор, а потом к двери, которая вела на улицу Гарансьер. Но там он должен был остановиться. Он буквально попал в засаду, которую сам себе расставил по недостатку веры в свое мужество. Дверь была заперта снаружи, и ключ был в кармане Монморанси.

Что делать? Нечего было и думать оставаться тут, так близко к страшному кардиналу; и как бежать иначе, чем в дверь? Гастон, с потом на лбу, с трепещущим сердцем, с головой совершенно растерявшейся от перспективы быть застигнутым на месте преступления, машинально вернулся в темный коридор. Он сам не знал, что делает. Как ночная бабочка, невольно привлекаемая огнем, который должен сжечь ей крылья, принц, растерявшись, возвращался к тому, кого хотел избежать во что бы то ни стало. То, что должно было погубить, спасло его. Он

шел в темноте, наудачу, протянув руки вперед, ощупывая стены и пол руками и ногами. Вдруг стена кончилась под его правой рукой, которая опустилась на железную решетку. В то же время нога его запнулась о первую ступень лестницы. Лестница была широкая, каменная, с железными перилами, принадлежавшая одному из домов в улице Гарансьер, в части еще не уничтоженной. Гастон проворно поднялся на эту лестницу, не спрашивая себя, куда он идет. Лестница привела его в переднюю с балконным окном, выходившим на улицу. Сквозь стекла Гастон увидел при сиянии звезд белый слой снега, покрывавший землю. Это был как бы густой ковер, приглашавший его прыгнуть и обеспечивавший его против опасностей падения. Он был молод, проворен, а более всего он боялся. Он тихо открыл окно, повис на обеих руках и прыгнул.

– Черт побери! – сказал раздраженный голос. – Из этого дома валяются странные фрукты.

Гастон, несмотря на то что обезумел и от своего положения, и от гимнастического упражнения, которому он предавался, узнал голос Монморанси, на плечи которого он упал.

– Это вы, кузен? – сказал он со вздохом облегчения. – Черт побери! Добро пожаловать, хотя, не в упрек вам будет сказано, вы могли бы раньше освободить меня.

– Как! Ваше высочество спускается таким образом из окна? – сказал герцог. – И именно в ту минуту, как я усиливался отпереть эту проклятую дверь!

– Которая не отпирается, – сказал Морэ.

– Она была заперта изнутри.

– Выньте ключ, кузен, и уйдем скорее. Объяснения на этом месте были бы некстати.

– Потому что слишком холодно? – спросил Морэ.

– Нет, братец, – шепотом отвечал Гастон, – потому что слишком жарко. Кардинал чуть не застал меня с племянницей, и я не стану удивляться, если он гонится за мною по ту сторону этой двери.

– Черт побери! – сказал герцог.

– Черт возьми! – сказал Морэ.

Все трое поспешили уйти с улицы Гарансьер.

VII

ГЕРЦОГИНЯ ДЕ КОМБАЛЭ, ЗАНЯВШИСЬ ЛЮБОВЬЮ С ГЕРЦОГОМ АНЖУЙСКИМ, ПРИНУЖДЕНА ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ С КАРДИНАЛОМ И ПРИМЕЧАЕТ С ОГОРЧЕНИЕМ, ЧТО ОНА СЛИШКОМ ПОТОРОПИЛАСЬ СЪЕСТЬ С ПРИНЦЕМ ЯБЛОКО ЕВЫ

Герцогиня не так испугалась, как Гастон, появления кардинала у входа в оранжерею, которая прямо вела в маленькую гостиную, где любовники занимались своей любовью. Или она заранее была уверена в снисхождении своего дяди, или знала, что он этого не узнает; но как бы то ни было, она нисколько не засуетилась при его приближении. Сидя в темной гостиной, она смотрела, как кардинал приближался, внимательно прислушиваясь к шуму шагов удалявшегося принца; потом, когда свеча, которую нес кардинал, осветила гостиную, герцогиня вдруг легла на диван и притворилась спящею.

Кардинал вошел. Лоб его был мрачен, нахмуренные брови и глаза, пристально смотревшие вперед и не примечавшие предметов, на которые смотрели, говорили достаточно, что его преследовала мятежная или докучливая мысль. Он думал, что он один. Дойдя до камина, он поставил подсвечник и хотел расшевелить почти угасший огонь. Но, очевидно, это занятие было машинальное. Мысли его находились в другом месте. Он взял подсвечник, прошел гостиную и направился ко второй оранжерее, в конце которой находился коридор, смежный с улицей Гарансьер. Оттуда пришел и оттуда бежал герцог Анжуйский, и, если бы кардинал продолжал идти, он застал бы Гастона в коридоре. Но когда он отходил от камина, глаза его упали на молодую женщину, лежащую на диване. Поза ее была очаровательна. Голова ее покоилась на руке, румяное лицо еще носило свежие следы одушевления, которое оживляло ее в разговоре с принцем, развязанные волосы разбросаны были по вискам и лбу, а раскрытый рот как будто призывал слишком скоро исчезнувший поцелуй. Она, по-видимому, спала так крепко, что шум шагов кардинала, подходившего к ней, не мог разбудить ее.

Кардинал остановился перед этой живой картиной, внезапно представившейся его глазам!.. Его мрачная физиономия прояснилась на минуту. Он положил руку на плечо молодой женщины, которая рассудила, что ей пора проснуться. Она вдруг раскрыла свои большие голубые глаза, еще томные от притворного сна, и приподнялась с движением испуганной кошки.

– Дядюшка! – сказала она с удивленным видом и с улыбкой, показывавшей между коралловых губ блестящую эмаль маленьких зубов.

Она была так хороша, что могла бы свести с ума целый конклав кардиналов. Но его преосвященство на этот раз не был расположен сходить с ума. Он сохранил свое хладнокровие, которого всякий другой скоро бы лишился.

– Что ты тут делаешь? – спросил он.

– Вы видите, дядюшка, я спала, – отвечала герцогиня де Комбалэ с наивностью пансионерки.

– В этой гостиной?

– Простите меня, дядюшка. Я надеялась найти вас здесь и, не найдя, хотела подождать. Сегодня вечером я свободна от занятий при королеве. В ожидании вас, я не знаю, от жара или от усталости, мною овладел сон, и я так крепко заснула, что если бы вы меня не разбудили, то я была бы способна проспать до утра.

Это было сказано так естественно и мило, что кардинал, несмотря на свою хитрость, поддался на обман. Он ласково взял герцогиню за подбородок, глаза его оживились, но с похвальным стоицизмом он оттолкнул демона-искусителя и тотчас надел маску сурового бесстрастия.

– Вам надо вернуться в Люксембург, Мария, – сказал он.

– Разве вы не хотите, чтобы я беседовала с вами сегодня? – спросила она, делая дяде гримасу, как избалованный ребенок.

– Нет, я должен долго работать сегодня, и ваше присутствие мне мешает.

– О! Негодный дядя! Вы вовсе не любезны для кардинала, дядюшка. Каким же образом мое присутствие может вам мешать, позвольте вас спросить?

– Оно будет меня волновать.

– Это немножко лучше. А почему оно будет вас волновать?

– Потому что оно покажет мне такие красивые вещи, что на них нельзя глядеть не потеряв головы, а мне нужна моя голова сегодня.

– Вот это хорошо.

– Ты довольна? Твое женское самолюбие удовлетворено? Тем лучше. Теперь подбери твои прекрасные волосы, распустившиеся во время сна, и оставь меня с моими серьезными мыслями.

– Разве эти мысли сегодня серьезнее обыкновенного? – спросила герцогиня де Комбалэ с той свободой в обращении, которую она одна имела право принимать с кардиналом и которую, впрочем, оправдывали узы родства и другие узы, соединявшие их. – Давно уже, дядюшка, не видала я вас таким озабоченным.

– Обстоятельства серьезны, малютка, – отвечал кардинал. – Я в эту минуту придумываю план, который, если удастся, утвердит навсегда в моих руках эту власть, которой я не хотел бы лишиться и которую, однако, не сегодня-завтра малейшее событие может у меня похитить.

Ришелье, опять воротившись к своим на минуту прерванным обширным и мрачным соображениям, поставил на камин подсвечник и начал ходить большими шагами по комнате. Он, по-видимому, забыл герцогиню де Комбалэ и все ее прелести и думал вслух, как будто был один:

– Моя карьера имеет только одно основание, основание слабое: жизнь короля. Пока король жив, я буду королем больше него, но день его смерти будет концом моей карьеры. Все эти могущественные враги, которым я иду наперекор, ставя пред собой как щит имя и особу короля, увидят меня тогда без защиты и не пощадят, и не помилуют. Людовик XIII умрет в молодости. Я должен найти себе другой щит, когда лишусь этого. Нашел ли я его? Может быть. Партия, которую я сыграл сегодня, решительна; выиграл ли я ее, проиграл ли? Будущее, близкое будущее скажет мне это. Если она выиграна, я непоколебим, если проиграна, я могу перенести ее на другую почву и сыграть с другой ставкой. Если королева мне изменит, остается брат короля, а чтобы сделать брата короля моим послушным орудием, у меня есть под рукою возле меня...

Кардинал остановился среди своей фразы. Его жгучий взгляд, сверкавший огнем гениальности, остановился на глазах герцогини де Комбалэ, которая с любопытством следила за его неровной походкой, а за его монологом еще с большим вниманием.

– Вы еще здесь, Мария? – сказал он грубым голосом.

Герцогиня очень хорошо знала дядю; она знала, что если бывали минуты, когда кардинал был очень чувствителен к ее задорным гримаскам, но бывали другие минуты, когда весь арсенал ее обольщений не мог преодолеть его холодного бесстрастия. Очевидно, в этот вечер кардинал находился в последнем расположении духа. Она тотчас опустила глаза и отвечала смиренно:

– Я ухожу, дядюшка.

Она была уже у двери гостиной, когда Ришелье позвал ее смягченным голосом.

– Останься, – сказал он, – и сядь здесь возле меня.

Он опустился на диван и указал ей место возле себя.

– Теперь, – продолжал он, когда она с удивлением села возле него, – не прельщай меня твоими прекрасными глазами и обольстительными улыбками; сегодня это будет напрасно. То,

что я буду тебе говорить, очень серьезно. Дело идет о моем счастье и, следовательно, о твоём, и, так как ты, может быть, будешь играть роль в моих замыслах, тебе надо знать их заранее.

– Ах, это будет не забавно! – сказала герцогиня де Комбалэ с маленькой гримасой.

– Нет, но полезно. Слушай. Ты с первых слов не найдешь скучной мою речь.

– Посмотрим.

– Я хочу опять выдать тебя замуж.

– Ах, дядюшка! Если муж мне понравится, то это действительно хорошая мысль.

– Он тебе понравится.

– Стало быть, он не будет похож на первого, за которого вы заставили меня выйти. Во-первых, он не должен быть так стар, как был герцог де Комбалэ, который по своим летам мог быть только мужем по имени.

– Может быть, но в утешениях у вас не было недостатка, и следовательно, жалобы ваши излишни.

– Я не жалуясь, дядюшка, я только привожу факт.

– Хорошо, но тот, которого я назначаю тебе теперь, имеет недостаток совершенно противный тому, в котором ты упрекаешь бедного покойного де Комбалэ, – он слишком молод.

– Это не недостаток.

– Он даже несколькими годами моложе тебя.

– Стало быть, это ребенок?

– Почти, но с доброй волей ты скоро сделаешь из него мужчину.

– В доброй воле у меня недостатка не будет.

– Я в этом не сомневаюсь.

– Благодарю за доброе мнение. А мил этот молодой муж, которого вы хотите дать мне в ученики?

– Очарователен.

– Вам остается только мне его назвать.

– Подожди. Выслушай прежде мои инструкции.

– Инструкции вы скажете мне после, дядюшка. Скажите прежде имя. Вы видите, что я горю от нетерпения.

– Тем лучше, ты будешь привлекательнее в день свадьбы.

– Скорее, дядюшка, или я не ручаюсь вам ни за что. Как вы хотите, чтобы я обращала внимание на ваши слова, когда моя голова усиливается угадать то, что вы не хотите сказать?

Кардинал с нетерпением нахмурил свои густые брови.

– Герцогиня, – сказал он строгим тоном, – все это очень серьезно, и если я заговорил с вами шутливым тоном, то это потому, что женский ум, наклонный к шутливости, не понимает серьезных причин, представленных в словах серьезных. Следуйте послушно за мною, куда я вас поведу. Этого требуют и ваши выгоды, не только мои.

Герцогиня потупила голову, и смягченный кардинал продолжал:

– Во-первых, ты должна переменить твой образ жизни.

– Как это, дядюшка?

– Набожность, которую я тебе посоветовал, чтобы приобрести доверие королевы-матери, к которой мне нужно было тебя поместить, теперь бесполезна, и даже будет вредна для моих намерений. Ты потихоньку это перемени.

– Ах! Дядюшка, вы не могли дать мне приказания более для меня приятного! – с радостью вскричала герцогиня де Комбалэ. – Я набожна не больше вас, и признаюсь, эта маска лицемерия, которую вы надели мне на лицо, очень меня стесняла.

– Ну, ты можешь ее снять.

– Уф! – сказала отставленная ханжа со вздохом облегчения.

– Ты объявишь громко для объяснения перемены в твоём поведении, что в ту минуту, как ты хотела привести в исполнение твой план и совсем отказаться от света, надев одежду кармелиток, ты почувствовала себя недостаточно одушевленной благодатью и из любви к Богу предпочла сделаться светской женщиной, чем дурной монахиней. Даже королева-мать одобрит тебя.

– И справедливо.

– Ты тотчас бросишь степенную одежду, которую носишь так давно, и заменишь ее самым щегольским и самым богатым костюмом.

– С большим удовольствием, дядюшка.

– Не жалея ни жемчуга, ни брильянтов, ни пышных материй, чтобы сделаться прекраснее и обольстительнее прежнего.

– Да, дядюшка. Будьте спокойны.

– Отдаю в твоё распоряжение шкатулку с деньгами. Бери сколько хочешь.

– Вы самый очаровательный из всех дядей на свете!

– Словом, надо, чтобы о тебе говорили как о светской женщине, чтоб тебя встречали повсюду, на всех прогулках, на всех балах, на всех концертах, на всех придворных охотах.

– Но вы предписываете мне восхитительную жизнь, дядюшка, – сказала обрадованная герцогиня де Комбалэ, – я и не подумаю ослушаться вас.

– Я это знаю, – сказал Ришелье со своей тонкой улыбкой, – но это хорошая сторона.

– А есть другая?

– Другая бывает всегда.

– А! – тревожно произнесла герцогиня. – Действительно, это слишком хорошо. Под этой веселой перспективой, должно быть, скрывается что-нибудь ужасное.

– Именно ужасное. Я наложу на тебя муку Танталя. Как только ты выставишь себя напоказ, толпа молодых и пылких вельмож будет наперерыв увиваться около тебя.

– Я надеюсь, дядюшка, и до сих пор не вижу ничего ужасного.

– Подожди. Среди этой толпы невозможно, чтобы твоё сердечко, такое чувствительное, не отличило двух-трех, которые могут заставить его забиться при их приближении.

– Может быть.

– Это верно. Ну, вот в чем заключается ужасная сторона твоего положения, племянница: твоё сердечко должно подавлять всякое биение, сильное и слабое, ты должна оставаться добродетельнее всех римских Лукреций. Понимаешь ли?

– Разве вы думаете, дядюшка, что мне так трудно оставаться добродетельной? – спросила герцогиня, улыбаясь и сердясь.

– Хорошо, хорошо, я знаю, что должен думать об этом, – сказал кардинал с иронической улыбкой. – Все твои уверения не убедят меня.

– Какие ужасы говорите вы, дядюшка! Неужели вы не доверяете моей добродетели?

– Нисколько. Но я верю твоему уму и твоим интересам. Слушай меня хорошенько. Прежде весталок, позволивших потухнуть священному огню, сжигали живыми. Ты же, если позволишь зажечься твоему огню, сожжена не будешь; это было бы жестоко, но даю тебе честное слово, что твоя склонность к религиозной жизни воротится к тебе очень скоро и что я найду для тебя монастырь, где ты будешь иметь время погасить твой огонь.

Тон кардинала опять переменялся. Он сделался сух, язвителен и запечатлен непреодолимой твердостью. Надо было быть глухим и слепым, чтобы не понять неумолимую угрозу, заключавшуюся в этих простых словах, произнесенных таким тоном. Герцогиня не была ни слепа, ни глуха. Она задрожала всеми членами при слове «монастырь», и, как ни тягостна показалась ей требуемая жертва, она не колеблясь покорилась жестокой необходимости.

– Хорошо, дядюшка, я буду благоразумна, обещаю вам.

И так как она, скорее из страха, чем по желанию, имела твердое намерение сдержать свое обещание, у нее навернулись слезы на глазах.

– Хорошо, – сказал Ришелье, читавший в эту минуту в ее мыслях как в книге, – так как я уверен, что ты своего обещания не нарушишь, я тебя награжу, сообщив тебе часть моих планов и объяснив, зачем я налагаю на тебя такое строгое условие. Но это политика, политика ришельевская, твой рот должен сейчас забыть, что услышат твои уши.

– Будьте уверены в моей скромности, дядюшка. Мои выгоды ручаются вам за это.

– Да, на них-то я и полагаюсь. Ну, предположи, что очень может казаться вероятным, так как она замужем уже десять лет, предположи, что Анна Австрийская всегда останется бесплодна, а король, который чахнет, вдруг умрет; что сделается тогда с твоим дядей и с тобою?

– Понимаю, дядюшка.

– Кардинала Ришелье постыдно отошлют в Рим, а герцогиня де Комбалэ кончит жизнь в монастыре.

– И вы нашли способ отразить этот ужасный удар?

– Да.

Он наклонился к уху молодой женщины, как будто, несмотря на уединение, в каком они находились, боялся, чтобы слова его не были услышаны кем-нибудь другим, кроме нее.

– Для того чтобы новый король не мог преждевременной смертью лишить меня власти, если он умрет бездетным, я дам ему жену.

– Боже мой! – вскричала герцогиня, почти испугавшись открывавшейся перед нею перспективы. – Кажется, я понимаю!

– Да, ты понимаешь. Этою женою, которую я дам тому, кто теперь не король, будешь ты.

– Но, стало быть, вы мне говорите целый час о брате короля?

– О нем.

– О Гастоне Орлеанском, герцоге Анжуйском?

– Именно.

Пурпурный румянец покрыл лицо герцогини де Комбалэ при воспоминании о том, что произошло час тому назад между нею и Гастоном на том самом диване, где она так спокойно разговаривала с кардиналом о политике. Кардинал увидел этот румянец, но приписал его весьма естественному волнению, какое подобное предложение могло внушить женщине такой честолюбивой, как его племянница.

– Ну что же? – спросил он.

– Ваше предложение так великолепно, что поверить ему невозможно. Согласится ли на этот брак королева-мать?

– Королева-мать! – отвечал кардинал, приподняв свои густые брови, закрывавшие его взгляд, сверкавший мыслями. – Королева-мать отжила свое время. Она, в награду за оказанные услуги, дала мне вход в совет, но я сам сумел сделаться кардиналом и министром, то есть более могущественным, чем была она сама, королева и регентша. Я буду ей покровительствовать, если она останется послушна, но пусть она остережется преграждать мне путь. Да она этого и не посмеет.

– А король, дядюшка?

Кардинал сделал презрительное движение.

– Король! – сказал он. – Король прикажет Гастону вести тебя к алтарю в тот день, который я сам назначу.

– Но когда так, я уже почти королева! – вскричала герцогиня.

Ришелье медленно покачал головой.

– Нет еще, – сказал он, – твое женское сумасбродство видело препятствия там, где их нет, в Марии Медичи, в Людовике XIII, двух призраках власти, которую я уничтожу, когда захочу, а не видело именно в том, где они находятся.

– Где же вы их видите, дядюшка?

– В воле Гастона, – резко ответил кардинал. – Против этой воли я не могу сделать ничего.

– Но я могу сделать все.

– В этой-то надежде я открыл тебе тайну моих планов. Да, я знаю, что ты ловка, а ты знаешь, что ты прекрасна. С этим ты успеть можешь и должна. Но не обманывай себя. Гастон изменчивый, капризный ребенок, исполненный слабостей; он может вырваться у тебя в ту минуту, как ты менее всего этого ожидаешь. Теперь ты можешь оценить всю силу моих предписаний относительно необходимости оставаться строго добродетельной. При дворе, где ты должна показываться, чтобы иметь возможность с ним встречаться, малейший проступок погубит тебя навсегда, потому что там всякое падение сопровождается оглаской.

– Я признаю высокую мудрость вашего преосвященства, – сказала герцогиня и задумалась.

– Приложи же ее к делу. Держи влюбленных поодаль, кокетничая с ними, держи всех, а особенно того, кого ты хочешь захватить. Одна минута слабости с Гастоном может погубить все наши планы. Взрослые мужчины и старики вкладывают в любовь страсть, а молодые люди только любопытство. Заставляй его желать и не соглашайся ни на что. Цена победы заключается в этом.

– Да, дядюшка, – печально сказала герцогиня.

Ришелье приметил эту внезапную печаль, но не подозревал настоящей причины.

– Не отчаивайся, малютка, – сказал он, – ты все наверстаешь после свадьбы.

Герцогиня старалась улыбнуться, но это ей не удалось.

– Теперь, когда ты меня поняла, когда все решено, – продолжал кардинал, – оставь меня, дитя мое; мой вечер еще далеко не кончен, я должен проработать часть ночи.

Молодая женщина встала, молча подставила лоб дяде, который в этот вечер хотел быть только дядей, и ушла. Кардинал позвал ее, когда она подошла к двери.

– Если ты провела вечер в этой гостиной, – сказал он, остановив на ней пронизательный взгляд, – через которую непременно нужно пройти в эту оранжерею, сообщающуюся с улицей Гарансьер, можешь ли ты мне объяснить, каким образом маленькая дверь на улицу, которую я оставил отворенной в начале вечера, очутилась запертой изнутри?

Герцогиню на минуту ошеломил этот вопрос. Он так близко касался пылкового свидания с Гастоном, по поводу которого кардинал давал ей такие строгие наставления, но она скоро оправилась.

– Это я заперла дверь, дядюшка, – сказала она спокойно. – Мне послышался в той стороне шум, правда существовавший только в моем воображении, но все-таки напугавший меня. Тогда я собрала с мужеством и храбро пошла задвинуть запор.

– Довольно, – сказал убежденный кардинал. – Твоего объяснения достаточно для меня. Прощай, дитя мое. Вернись в Люксембург и, как всегда, остерегайся, чтобы тебя не заметили.

Герцогиня вышла из гостиной в оранжерею, сообщавшуюся с комнатами кардинала, смежными с садом, через который надо было пройти в Большой Люксембург. Она шла потупив голову, совсем не такая веселая, как несколько минут тому назад. Корона казалась ей теперь очень далеко, если кардинал справедливо оценил любовь такого молодого человека, как герцог Анжуйский.

«Кардиналу следовало раньше сообщить мне свои планы, – думала она, – как развязать теперь с принцем начатую интригу?»

Честолюбивая вдова вернулась в свои комнаты в Люксембург, раздираемая смертельными сожалениями. Она видела во сне молодого принца, которого она старалась прельстить, а он поворачивался к ней спиной.

VIII

РИШЕЛЬЕ, ЛЮБУЯСЬ СОБОЙ, НАХОДИТ СЕБЯ КРАСИВЕЕ
АПОЛЛОНА БЕЛЬВЕДЕРСКОГО, А АББАТ ДЕ БОАРОБЕР, ПЬЯНЫЙ,
СТАРАЕТСЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОН НАПИЛСЯ НЕ ДЛЯ СВОЕГО
УДОВОЛЬСТВИЯ

Ришелье, когда уходила герцогиня, не тронулся с места. Когда он решил, что она вышла из Люксембурга, он также вышел из гостиной, где происходил их разговор, и по той же дороге пошел в свой кабинет. Это была большая комната в нижнем жиле нового дворца, выходившая в сад. Многочисленная библиотека покрывала стены, квадратный стол, заваленный книгами и бумагами, планами крепостей и пергаментами с государственными печатями, стоял посредине. В огромном камине пылал яркий огонь. Ришелье скорее лег, чем сел в широкое кресло, и, потупив голову, устремив глаза на уголья, тотчас погрузился в глубокие размышления. Все происшествия этого вечера, в которых он играл такую странную роль, проходили одно за другим в голове его, и он каждое подверг строгому контролю холодной оценки; каждое слово, каждое движение, каждый тон голоса королевы и ее фаворитки герцогини де Шеврез в той сцене, где он осмелился сделать объяснение гордой Анне Австрийской, были им взвешены, проанализированы, обсуждены, истолкованы. И, невероятное дело, этот хитрый человек, этот лукавый кардинал, этот тонкий дипломат, этот непобедимый политик не только ни минуты не подозревал, что он был одурачен, но еще остался твердо убежден, что он почти выиграл свою смелую партию. Герцогиня де Шеврез не преувеличила ничего и хорошо оценила его, когда говорила королеве, что у него больше тщеславия, чем у светского человека, и что если на него напасть с этой стороны, то он сумеет защититься не лучше школьника. Этот великий ум действительно имел свои мелочи. Ришелье хотел слыть красавцем, счастливым обожателем женщин. Пошлые лавры донжуана имели в его глазах более цены, чем патент на бессмертие, которое потомство должно было впоследствии присудить ему как гениальному государственному человеку. Понравиться королеве, которая слыла по справедливости одною из величайших красавиц в Европе, взять себе в любовницы дочь короля испанского и жену короля французского – это было предприятие, достойное возбудить алчность прелата-обольстителя. Но к самолюбию присоединялась еще и любовь. Ришелье любил Анну Австрийскую. Отвращение, которое она всегда показывала к нему, надменность, с которой она постоянно принимала знаки его преданности и уважения, – все это не могло уничтожить любви, которую прелести королевы внушили ему с первого взгляда. Только он любил ее по-своему, и чувство его больше походило на ненависть, чем на любовь. Ревнуя к малейшей милости, которую Анна Австрийская могла бы оказать к кому бы то ни было, он успел, подстрекая ревность короля, удалить от нее всех людей, способных внушить ему опасение. Потом, ревнуя даже к законному расположению к королю, ее супругу, он умел удалить Людовика XIII от брачного ложа, внушив ему с вероломным искусством отвращение к молодой жене. Он не хотел, чтобы ею обладал кто-нибудь другой, кроме него, даже муж. Потом к этой любви примешивалась перспектива верного успеха в самом смелом плане, который когда-либо приходил в голову министра: быть отцом будущего короля, вместо которого он хотел царствовать. Людовик XIII должен был умереть в молодости. Надо было заранее принять меры предосторожности.

Ришелье, погрузившись в размышления, самодовольно вспоминал сцену, разыгранную им в этот вечер пред королевой. Он был убежден, что он преуспел; королева обращалась с ним совсем не так, как обыкновенно. Вместо холодности, которую она всегда показывала к нему, она была с ним почти любезна. Она улыбнулась, когда увидела его, захохотала, когда он стал танцевать, потом выслушала без гнева довольно прозрачные слова, которыми он старался

растолковать ей свои чувства. Он осмелился поцеловать ее руку, и рука эта не была отнята. Подобная благосклонность такой женщины, как Анна Австрийская, равнялась успеху.

Когда кардинал дошел до этого места в своих размышлениях, он распахнул рясу и обвел все свои члены самодовольным взглядом. Он приписывал своему успеху непреодолимое действие, произведенное взглядом на его формы, так благоприятно выставленные костюмом Панталоне.

– Герцогиня де Шеврез была права, – прошептал он, – я никогда не победил бы предубеждения Анны Австрийской, если б не решился показаться ей в другой одежде.

Он встал и задумчиво прислонился к углу камина.

– Она опять права, – продолжал он, помолчав несколько минут, – настаивая, чтобы я немедленно написал к королеве. Зайдя так далеко, я останавливаться не могу. Да, я должен написать, и напишу.

Он взял с камина серебряный колокольчик и позвонил. Портьера в углу кабинета тотчас приподнялась, и явился лакей.

– Аббат вернулся? – спросил Ришелье.

– Вернулся, – отвечал лакей.

– Позовите его ко мне сейчас.

Лакей колебался.

– Аббат де Боаробер не в состоянии явиться сегодня к вашему преосвященству, – сказал он наконец.

– Он пьян?

– Не совсем.

Ришелье сделал движение нетерпения.

– Все равно, позовите его, и если он считает себя слишком пьяным, чтобы меня понять, пусть образумится в холодной ванне.

Лакей вышел. Не прошло и пяти минут, как портьера приподнялась, и вошел аббат Метель де Боаробер, один из будущих основателей Французской академии, друг если неизвестный, то, по крайней мере, самый преданный и самый короткий, кардинала Ришелье. Доказано, что аббат де Боаробер, или из равнодушия к людям, или из лени, не играл никакой роли в министерстве кардинала, но пользовался его полным доверием и часто разделял самые тайные его планы. Все записки того времени говорят о нем одно и то же, то есть что он был игрок, пьяница, развратник, но самый веселый и самый добрый человек на свете. Он был толст, румян, имел большой живот, тройной подбородок и отвислые щеки.

Слуга, посланный за ним, не солгал. Аббат, войдя в кабинет, где ждал его кардинал, был еще пьян. Но как закоренелый пьяница, он крепко держался на своих коротеньких ножках, и мысли его были так свежи, как будто он целый месяц пил одну воду.

– Ваше преосвященство, вы меня спрашивали? – сказал он, не совсем внятно произнося слова. – Не в дурном ли вы расположении духа и не хотите ли для развлечения позаимствоваться веселостью Боаробера?

– Нет, аббат, – ответил Ришелье, устремив на толстяка проницательный взгляд, – я не расположен сегодня забавляться вашими площадными шуточками, я хочу только узнать, прежде чем скажу вам что-нибудь, в состоянии ли вы выслушать и понять меня. Вы совсем еще пьяны?

– Наполовину. А что касается, способен ли я слышать и понять, ваше преосвященство оскорбляет меня, сомневаясь в этом. Мысли мои никогда не бывают яснее, как в то время, когда я выпил пять или шесть бутылок молочка Генриха IV. Если бы вы, ваше преосвященство, попробовали этого средства только один раз, вы непременно повторили бы его.

– Довольно, – сказал Ришелье с жестом отвращения.

– Напрасно ваше преосвященство пренебрегает бутылкой и своими друзьями, – продолжал аббат с той свободой в обращении, которую кардинал позволял ему одному, – а сегодня

вам еще менее обыкновенного следует ставить в преступление, что я напился, потому что если я половину вина выпил для своего удовольствия, то другую половину выпил для вас.

– Это как? – спросил Ришелье.

– Ваше преосвященство, вы приказали мне, ввиду будущих планов, которые вы не заблагорассудили сообщить мне, войти как можно более в доверие к его высочеству герцогу Анжуйскому.

– Это правда.

– Я не нашел ничего лучше для того, чтобы достигнуть этого, как вступить в орден Негодяйства, гроссмейстером которого является принц.

– Я это знаю.

– Меня приняли единогласно.

– Это меня не удивляет.

– По той причине, что Общество Негодяев было бы неполно, если бы не считало в своих рядах аббата де Боаробера, самого негодного из всех аббатов? Вы, ваше преосвященство, правы и отдадите мне справедливость. Сегодня вечером было собрание членов ордена Негодяйства. Обедали, и обедали хорошо. Когда я вышел из-за стола, я был наполовину пьян. Для моего ли это удовольствия?

– Нет, аббат, я сознаюсь, что это было для меня.

– Это очевидно. После обеда его высочество, Рошфор, мой любезный товарищ аббат де ал Ривьер, Морэ, Монморанси и несколько других отправились стаскивать плащи с прохожих на Новом мосту и приглашали меня, но я не люблю этого упражнения, где нечего ни попить, ни поесть, и вспомнил, что я приглашен на ужин к одному достойному прокурору, где превосходный стол; у негото я напился окончательно, и на этот раз для моего удовольствия, в этом я не отрицаюсь.

– Довольно логичное рассуждение для пьяницы.

– Пьяницы! Это слово может быть немножко жестко, но оно мне льстит. Теперь я слушаю, что ваше преосвященство сообщит мне.

Ришелье знал аббата. Он знал, что голова его оставалась здоровою, а мысли ясными там, где всякий другой потерял бы рассудок. Он сделал ему повелительный знак, требовавший внимания, и заговорил почти вполголоса:

– Боаробер, я решился написать к королеве и открыть ей в этом письме мои чувства.

Аббат отступил на шаг. Его маленькие глазки засверкали и взглянули на кардинала с глубоким изумлением.

– Написать ее величеству? – повторил он.

Он поднял руки к потолку и потом опустил их на свой круглый живот.

– Я решился на это.

– Позвольте же мне сказать вам со всем уважением, которое я обязан оказывать вашему преосвященству, что, наверно, вы сегодня обедали и пили больше меня и что сверх того у вас голова слабее моей.

Кардинал скрыл улыбку.

– Вы считаете это сумасбродством, аббат?

– Я не смел сказать вам этого.

– И вы заранее рассчитываете опасность подобной переписки с такой женщиной, как Анна Австрийская, не правда ли?

– Расчеты больших не нужно, чтобы понять опасность отдавать в руки врага подобное оружие.

– Во-первых, аббат, королева мне не враг.

– Стало быть, у ее величества удивительно добрый характер.

– Она знает, или будет знать, что все сделанное мною против нее было сделано из любви к ней.

– Я сомневаюсь, чтобы она была вам за это благодарна.

– Так на моем месте вы не писали бы к ней?

– Если бы меня звали Ришелье, я предпочел бы отрубить себе правую руку скорее, чем написать первое слово этого письма.

Кардинал снова улыбнулся.

– Хорошо, аббат, – сказал он, – я с удовольствием вижу, что вы разделяете мои чувства в этом отношении. Только, любезный Боаробер, если вы хотите когда-нибудь сделаться епископом, вам надо вперед показывать более проницательности. Мне необходимо написать к королеве, но как вы могли думать, аббат, чтобы я, Ришелье, отдал в руки Анны Австрийской такое страшное оружие, если бы не имел способа уничтожить всю его силу, все его могущество в ту минуту, как захочу?

– Ваше преосвященство несколько меня успокаивает.

– Вы успокоитесь совсем, аббат.

Ришелье сел за стол, взял лист белой бумаги и быстро написал пять или шесть строк. Они не имели никакого смысла. Внизу он подписал: Ришелье:

– Возьмите, аббат, – сказал он.

– Это что такое? – спросил Боаробер.

– Прочтите.

Аббат прочел и не понял.

– Это не имеет никакого смысла, – сказал он.

– Однако больше ничего не нужно, – ответил Ришелье, – образец почерка, и только. Вы поняли, аббат?

– Нет.

– Стало быть, вы еще не заслужили епископства. Я вам растолкую. Отыщите завтра искусного человека, который, взяв это за образец, подражал бы, насколько возможно, почерку Ришелье.

– Понимаю! – с восторгом вскричал аббат. – И, не заходя далеко, обращусь к моему молодому протеже Пасро.

– Это кто такой?

– Первый клерк Гриппона, прокурора, у которого я обедал сегодня. Этот мальчик пишет так же хорошо, как я пью.

– Каким же образом покровительствуете вы ему, аббат?

– Негодяй влюблен в хорошенькую девушку, дочь садовника в том новом доме, который королева выстроила в Валь де Грас. Он однажды рассказал мне свои огорчения между двумя бутылками вина, и по доброте душевной я взялся ему помогать. Я люблю устраивать свадьбы и, по милости моего красноречия, уговорил отца и дочь, а Пасро из признательности готов сгореть для меня на костре.

– Хорошо, аббат. Счастливая у вас была мысль устроить эту свадьбу. Мне, может быть, будет полезно иметь в Валь де Грас, когда королеве придет фантазия там запереться, преданного человека.

– Ваше преосвященство ничего не упускает из вида, – сказал Боаробер.

– Соединяя малые вещи, можно иногда составить большие. Помните это, аббат. Итак, вы уверены в этом молодом человеке?

– Совершенно уверен.

– Действуйте с ним так, как будто вы совсем не были уверены. Он не должен знать, откуда эта бумага и какая в этом цель. Он должен действовать как машина, не стараясь понять. Пусть

он скопирует то, что я здесь написал. Если останусь доволен подражанием, я посмотрю, как мне заставить его сделать, что я хочу. А пока обещайте ему сто пистолей, если удастся.

– Очень хорошо. А теперь, ваше преосвященство, позвольте мне идти спать?

– Ступайте, аббат, ступайте. До завтра.

На другое утро аббат, едва успевший проспать, охотно проспал бы целое утро, но он знал, что Ришелье никогда не прощал замедления в исполнении его воли. В десять часов он был уже на ногах, а в двенадцать входил в контору Гриппона. Молодой Пасро, который, как мы видели, накануне угощал жирным гусем шайку Лафейма в таверне на улице Феру, а потом так проворно выпрыгнул в окно, убегая от своего мнимого соперника, молодой Пасро один находился в конторе. Гриппон был в Шатлэ, Пасро, сделавший все, что только мог, для того, чтобы убить честного молодого человека, предавался теперь сожалению о том, что предприятие его не удалось, потому что Пасро, пожертвовав своими дорогими пистоллями, захотел узнать, какую участь будут они иметь. Выпрыгнув в окно, когда он увидел графа де Морэ, выходящего на середину залы, он обошел кругом и спрятался на почтительном расстоянии от двери. Там он ожидал выхода из таверны того, кого считал своим соперником, и поборников, которым дал поручение отправить его на тот свет. Он следовал за обеими группами на место битвы и присутствовал издали, спрятавшись за стеной, при тройной дуэли барона де Поанти с гасконцем Рошфором, с пикардийцем Куртривом и с нормандцем Либерсалем. Он видел, как эти три достойных сподвижника пали один за другим от одной шпаги барона. Это было полное поражение его пятидесяти пистолей, так неблагоприятно брошенных шайке Лафейма. Потом он оставался отчаянным, но робким зрителем ухода барона в сопровождении герцога де Монморанси и графа де Морэ; а потом ухода Лафейма и двух поборников, жалких и последних остатков его гордой шайки. Мертвых оставили на поле битвы, но прежде оставшиеся в живых вывернули их карманы. Тогда молодой Пасро почувствовал два искушения. Первое: последовать за тем, кого он считал соперником и который так чудесно спасся от него, чтобы опять затеять против него новое предприятие, удостоверившись, куда он укроется. Но мысль, что страшный дуэлянт может обернуться и, пожалуй, вздумает проткнуть его своей страшной шпагой, уже омоченной в крови трех поборников, остановила его. Второе искушение состояло в том, чтобы потребовать от Лафейма пятьдесят пистолей, отданных слишком рано и слишком доверчиво, которые не были заработаны, потому что тот, за чью смерть он заплатил, по-прежнему оставался здоров. Но опасение, что требование его будет дурно принято, остановило его. Он печально вернулся домой, придумывать другой способ достигнуть своей цели, так чтобы не платить новых пистолей; у него не осталось ни одного су.

И теперь, сидя в конторе, он придумывал еще этот способ, когда вдруг увидел аббата, появившегося на пороге; он вскрикнул от радости и бросился к нему навстречу, говоря:

– Ах, сам Бог послал вас!

– Не думаю, – ответил Боаробер, смеясь над своей шуткой, которую понимал только он один. – Ну, негодяй, что с тобою? Болен, что ли, ты?

– Мой добрый мосье де Боаробер, – сказал Пасро, с умоляющим видом складывая руки, – вы один можете возвратить мне счастье. Ах, если бы я догадался о вас раньше вспомнить!

– Это что значит? – спросил аббат, начиная думать, не помешался ли его протеже.

– Позвольте мне вам объяснить, я уверен, что вы мне поможете. Ведь вы друг кардинала, который может сделать все, что захочет, который важнее короля.

– Какое отношение имеет его преосвященство к тому, что касается тебя, негодяй? – с удивлением спросил де Боаробер.

– Его преосвященство может спасти мне жизнь, если вы захотите.

– Объяснись.

– Не здесь. Сюда может войти кто-нибудь каждую минуту, а нам надо быть одним. Я знаю одно место, где нам будет очень удобно, и если вы позволите мне отвести вас туда, вы познакомитесь там, слушая меня, с таким вином, какого вы не пробовали никогда.

– А! Негодяй! Ты знаешь мою слабость!

Боаробер позволил себя увести. Во-первых, ему самому нужно было остаться наедине с прокурорским клерком, чтобы сообщить без свидетелей поручение кардинала, потом перед ним была перспектива объясниться за полным стаканом.

IX

ТАК КАК ПАСРО НЕ МОГ НАКАНУНЕ УБИТЬ СВОЕГО СОПЕРНИКА, ТО ОН ХОЧЕТ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТПРАВИТЬ ЕГО НА ВИСЕЛИЦУ И ДЛЯ ЭТОГО РЕШАЕТСЯ НАПИСАТЬ СВОЕЙ РУКОЙ ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО К КОРОЛЕВЕ

В то время кабаки или таверны были не то, что теперь. В нынешнее время простолюдины, работники степенные и трудолюбивые осторожно входят в кабак. Его посещают только цыгане и пьяницы, которых не останавливает никакое человеческое уважение. В семнадцатом веке было не так. Кабак был местом сбора людей самого лучшего и благородного общества. В кабаке собирались смеяться, пить и разговаривать на свободе не только люди военные со знатнейшими именами, аббаты, обладавшие богатыми приходами, но и женщины лучшего тона того времени. В кабаке впоследствии собирались люди умные и известные: Мольер, Корнель, Декарт, Шаплен, Бальзак.

Через несколько минут аббат и тот, кого он называл своим юным протеже, сели друг против друга в небольшой комнате, плотно запертой, в одном порядочном кабаке. Их разделял узкий стол, а на этом столе стояли две бутылки и два стакана.

– Господин аббат, – сказал клерк, устремив на веселое лицо Боаробера тревожный взгляд, – не правда ли, что на счет дуэлей и дуэлянтов существуют очень строгие эдикты?

– Это совершенно справедливо, мой милый, – отвечал аббат, – господа Шапель и Бутвиль были казнены в прошлом году на Гревской площади только за это.

– Я знал, что моя мысль хороша! – вскричал Пасро. – Она пришла ко мне сейчас, когда я приметил вас, господин аббат; я придумывал и не мог придумать со вчерашнего вечера.

– Какая мысль? – спросил аббат.

– Отдать на суд кардинала дуэлянта, который, как я видел вчера собственными глазами, убил одного за другим трех человек, троих приятелей де Лафейма.

– Что это у тебя за чертовская мысль, мой милый!

– Мысль, которую вы найдете естественной, господин аббат, когда узнаете, что этот ужасный дуэлист будет причиной, если вы не позаботитесь, что Дениза не захочет выйти за меня.

– А! А! – сказал Боаробер, интерес которого возбудился. – Объясните-ка мне это.

Пасро не заставил себя ждать. Только он сказал то, что хотел сказать, и рассказал по-своему. Все, что касалось Денизы, присутствие в продолжение недели, каждый вечер, в тот же час, под ее окнами влюбленного незнакомца, свалившегося как будто нарочно с луны, чтобы повредить его любви, кокетливое обращение молодой девушки, следившей из окна за всеми движениями этого влюбленного, все увеличивавшаяся холодность, которую она показывала к нему, к Пасро, – все это было сказано с примерной правдивостью. Но когда он дошел до обстоятельств, которые заставили его быть невидимым свидетелем дуэли, на которой он хотел основать против своего соперника обвинительный акт, история заменилась романом, и ложь заменила истину.

По его словам, когда барон де Поанти, при наступлении ночи, ушел из Валь де Грас, он натурально пошел за ним, с невинной целью узнать его квартиру; он видел, как он вошел в дом на улице Феру, и, предположив, что его квартира там, хотел спокойно удалиться, когда барон вышел из этой улицы в сопровождении шести молодых вельмож, в которых он узнал приятелей де Лафейма; все направились к Сен-Жерменскому аббатству, и там произошла страшная дуэль, в которой его соперник, презирая эдикты и приказания кардинала и короля, убил разом троих противников.

– Доказательства того, что я вам говорю, господин аббат, – продолжал Пасро, – не трудно найти, потому что они отнесли три мертвых тела под крыльцо аббатства, без сомнения, для того, чтобы монахи погребли их по-христиански.

Негодяй, столько же благоразумный, сколько и вероломный, остерегался, как видно, сообщить аббату свои дела и особенно роль, которую он играл в этой трагедии. Боаробер был так хитер, что клерк не мог его одурачить. Не подозревая истины, он понял, что в услышанном им рассказе было много темных пунктов, которых он не понимал. Но пока он не старался даже их понять. Его удивление обнаружилось только этими словами:

– Что ты там мне поешь? Может ли один человек убить троих поборников Лафейма, которого окружают знаменитые дуэлянты?

– Я вам говорю то, что я видел, видел собственными глазами! – утверждал Пасро. – И это было делом трех минут, по одной минуте на человека.

– Кто может быть этот юноша? – сказал Боаробер, задумавшись.

– Барон де Поанти; я слышал, как его называли. Я слышал также, что он приехал прямо из провинции.

– Как это странно! – сказал аббат, который при убедительном тоне прокурорского клерка не мог сохранять никакого сомнения насчет его правдивости и который, с другой стороны, не мог понять, чтобы провинциал, каков бы он ни был, имел силу победить на поединке трех страшных дуэлянтов Лафейма.

– Неужели вы думаете, мосье де Боаробер, что подобный человек заслуживает со стороны кардинала, который так строг на счет дуэлей, примерного наказания? – сладеньким голоском спросил Пасро.

– Конечно. Ла Шапель и Бутвиль, обезглавленные на площади, сделали гораздо меньше его, – ответил аббат. – Хорошо еще, если с ним поступят так, как с ними.

– Вы думаете?

– Конечно.

– О! Я не требую его смерти.

– Нет, ты требуешь только, чтобы тебя освободили от него?

– Именно.

– Все равно каким способом?

– Для меня все равно.

– Только бы он не вертелся около твоей Денизы и позволил тебе жениться на ней как можно скорее.

– Я только этого хочу.

– Ну, мой милый, это легче всего.

– Ах, вы возвращаете мне жизнь!

– Его преосвященство кардинал не откажет мне в этом, если я его попрошу.

– Конечно. Какое дело его преосвященству, в Бастилии барон де Поанти или нет?

– А! Тебе хотелось бы видеть его в Бастилии?

– В Бастилии или в Шатлэ, как будет угодно его преосвященству, только бы тюрьма была хороша, и он не мог из нее выйти.

– Будь спокоен, он выйдет оттуда только в день твоей свадьбы.

– Он не должен выходить оттуда никогда! – с испугом вскричал Пасро. – Если он войдет туда, он не должен выходить оттуда никогда. В день моей свадьбы! Но на другой день он, может быть, опять погонится за Денизой, которая будет тогда моей женой.

– Понимаю, – сказал Боаробер смеясь, – ты столько же опасаясь врагов после свадьбы, сколько и до нее.

– Не считая того, что этот ужасный разбойник мог подозревать, что я причиною его тюрьмы, и он не пропустит тогда случая отомстить и убьет меня.

– Это действительно возможно. Ну, успокойся, его постараются держать как можно дальше от тебя и от твоей жены.

Пасро взял руки аббата и благоговейно их поцеловал.

– Теперь, – сказал он, – взамен той доброй услуги, которую я хочу тебе оказать, послушай, чего я жду от тебя.

– О! Все, чего вы хотите, мой добрый мосье де Боаробер! – вскричал Пасро.

Аббат вынул из кармана бумагу, которую кардинал подал ему накануне, и показал прокурорскому клерку.

– Ты знаешь этот почерк? – спросил он.

– Нет, – ответил Пасро.

– Хорошо, – сказал аббат, – тем более ты будешь иметь заслуг, если успеешь.

– В чем?

– Подражать ему.

– Подражать!

– Да, скопировать все слова, написанные на этой бумаге, так верно, что тот, кто их набросал, не может узнать, что написано им, а что тобой. Понимаешь ли ты?

– Очень хорошо.

– И ты думаешь, что тебе удастся?

– Я в этом не сомневаюсь. Почерк этот длинен, прям, ему подражать легко.

– Если ты успеешь, как надеешься, я обещаю тебе навсегда освободить тебя от твоего соперника.

– Когда так, я спокоен, – сказал Пасро.

Аббат опорожнил свой стакан и встал.

– Я считаю тебя благоразумным и скромным юношей, – сказал он. – Помни хорошенько, что ты не должен ничего ни угадывать, ни понимать, ни видеть. Если когда-нибудь у тебя вырвется жест, слово, взгляд, обнаруживающие, что ты понял или подозревал малейшую безделицу, ты погибнешь безвозвратно.

Пасро побледнел как смерть. Он, может быть, не понял, но подозревал уже довольно, чтоб иметь возможность уловить всю серьезность угрозы, заключавшейся в словах аббата де Боаробера. Имя Ришелье, подписанное под этой странной смесью бессвязных слов, осветило его мысли зловещим и ужасным блеском. Не опасная ли какая государственная тайна скрывалась за этими разнородными словами, тем более ужасными, что, по-видимому, в них не было никакого смысла? Чей был этот почерк, которому он должен был подражать? Какую роль играл де Боаробер, поверенный, друг Ришелье, в этом таинственном предприятии? Для себя или для другого, более могущественного лица действовал он? Все эти жгучие вопросы пробежали, как огненные молнии, в взволнованном мозгу прокурорского клерка, и хотя он не мог ответить ни на один, он все-таки остался поражен испугом. Боаробер устремил на него строгий взгляд, который, не согласуясь с обыкновенно радостной и беззаботной физиономией толстого аббата, доказывал, как серьезно было его предостережение.

– Вы останетесь довольны мною, мосье де Боаробер, – сказал он в ответ на этот выразительный взгляд.

– Надеюсь, и поэтому-то выбрал тебя, – отвечал аббат, – потому что я принимаю в тебе участие, мой милый, и твое счастье зависит от этого. Прежде всего ты будешь освобожден от человека, который мешает тебе. Я принимаю участие в твоей женитьбе более, чем ты думаешь, и я не хочу, чтобы Дениза передумала и изменила тебе. Где можно найти барона де Поанти? Полицейские отведут его в надежное место.

Пасро сделал знак обманутого ожидания.

– Я потерял его из вида вчера вечером по окончании его дуэли, – сказал он, – и он не возвращался в свою квартиру на улице Феру. Но, – продолжал он после минутного размышле-

ния, – он непременно придет сегодня, как ходит каждый день, под окна Денизы; на этот раз я пойду за ним издалека, чтоб не внушить ему подозрения, и пойду так, чтобы не потерять его из вида. Я ручаюсь за то.

– Узнай его квартиру сегодня вечером, когда принесешь копию с этой бумаги; он будет арестован в нынешнюю ночь.

– Я и это узнаю, господин аббат, – отвечал Пасро тоном убеждения.

– Хорошо. Исчезновение этого опасного соперника будет твоею первой наградой, и я обещаю, кроме того, мешок пистолей, как второе вознаграждение за твой труд.

– Благодарю, господин аббат.

– Итак до вечера?

– Да, господин аббат, до вечера.

Боаробер вернулся в Люксембург отдать отчет кардиналу в этой первой части его поручения. Пасро, забыв начатую просьбу в конторе Гриппона, бегом вернулся к своему отцу, квартальному надзирателю, на улице Прувер, который задушил бы его собственными руками, если бы подозревал только десятую часть дурных мыслей, волновавших его, заперся на ключ в своей комнатке и принялся за дело с лихорадочным жаром. Во-первых, он торопился довести до конца свое темное дело. Каждый день к четырем часам барон де Поанти являлся под стенами Валь де Грас, и ему необходимо было поспеть туда до него, чтобы спрятаться и видеть его. Во-вторых, злой негодай, более хитрый, чем казался, принял при последних словах де Боаробера и мужественное, и в то же время благоразумное намерение, внушенное ему простым размышлением. Аббат угрожал ему страшным наказанием, если он выскажет, что понял хоть безделицу в том, что требовалось от него, но эта угроза обращалась, очевидно, к тому, что он мог, или по слабости, или по благоразумию, обнаружить из глубины своих душевных мыслей. Пока он делает вид, что не знает ничего, если бы даже угадал все, он не будет подвергаться никакой опасности. Следовательно, надо было только хорошо скрывать свои впечатления. Прокурорский клерк, знавший себя хорошо, чувствовал себя довольно искусным для этого.

«Узнаем, до чего они хотят меня довести, – храбро говорил он себе. – Будем слушать, смотреть, угадывать, но не станем показывать ничего. Словом, притворимся искусно дурачком; это единственный способ не рисковать ничем».

После двухчасовой прилежной работы Пасро так хорошо умел подражать почерку Ришелье, что, как он говорил, он сам мог ошибиться. Он сделал тридцать или сорок копий, чтобы набить руку. Когда он остался доволен своей работой, он взял лучшую копию, приложил ее к оригиналу и осторожно положил обе бумаги в карман. Чрез четверть часа он спрятался в Валь де Грас, в ту самую минуту, когда туда приходил обыкновенно барон де Поанти. Пасро ждал полчаса без большого нетерпения. Прошло еще полчаса. Потом час, потом два. Настала ночь. Барон де Поанти не являлся. И странное обстоятельство, которое не могло ускользнуть от завистливых глаз прокурорского клерка, окно Денизы, так скоро отворявшееся, как только являлся барон, оставалось упорно заперто. За запертыми ставнями ничего не показывалось, ничто не шевелилось. Точно между Денизой и незнакомцем было предварительное соглашение, точно Дениза была предупреждена, что барон не придет. При этой ужасной мысли Пасро помертвел. Ему захотелось пойти прямо в дом и открыть Денизе шпионство, которым он занимался неделю, страшные подозрения, возбужденные в нем тем, что он заметил, ревность, терзавшую его, бешенство, заставлявшее его желать убить человека и которое доводило его теперь до гнусной роли доносчика и поддельвателя; ему хотелось потребовать отчета от Денизы в ее поступках и мыслях и в поступках того, кого он считал своим соперником; он вздумал сделать огласку. Но это желание продолжалось не более секунды. Пасро не был способен приступить к вопросу откровенно и прямо. Он обещал себе, напротив, несколько дней не видеться с Денизой, чтобы не возбуждать ни в чем ее подозрений, и продолжать шпионство до тех пор, пока получится счастливый результат. Этим счастливым результатом будет, по его мнению, присут-

ствие под окнами Денизы барона де Поанти. Это присутствие должно было позволить ему арестовать его и запереть в Бастилию или в Шатлэ на всю остальную его жизнь. Когда настала минута отправиться к Боароберу в Люксембург, как он с ним условился, он удалился с бешенством в сердце, бросив на окно бедной Денизы, которая вовсе этого не подозревала, взгляд, где было более желчи, чем любви. Аббат действительно распорядился. Лакей, к которому Пасро обратился, вежливо пригласил его следовать за ним и тотчас привел в комнату, которую Боаробер занимал в новом дворце кардинала. У Ришелье было очень много жильцов вроде аббата. Он не мог дать каждому из них комнату, согласовавшуюся с его достоинствами. Комната де Боаробера находилась почти на чердаке. Это была довольно маленькая комнатка, скромно меблированная кроватью, стульями, письменным столом и распятием из черного дерева.

Когда прокурорский клерк вошел в эту комнату за лакеем, который его вел, она была пуста. Аббата там не было.

Лакей сделал ему знак подождать и вышел, оставив на камине две зажженные свечи. Пасро остался один. Но он едва успел с любопытством осмотреть комнату. Дверь напротив него вдруг отворилась, и вошел не аббат де Боаробер, а человек почти в таком же костюме, пожилой, волосы и борода которого начали седеть. У него были вздернутые кверху усы и остроконечная бородка. По костюму он казался аббатом скромной наружности и не снял шляпы, а под ее широкими полями вся верхняя часть лица оставалась полузакрыта. Пасро, бросивший на него пытливый взгляд, мог различить под полями шляпы только прямой и острый нос, и брови, нависшие над глазами, почти зажмуренными.

Человек этот быстро прошел по комнате и прислонился спиной к камину. По милости этой тактики свет был позади него, и клерк не мог видеть его физиономии. Однако Пасро не трогался с места. Он его не знал, он не имел с ним никакого дела, и так как при входе он его не заметил, он счел приличным для своего достоинства сделать то же, и, чтоб сделать вид, будто он им не занимается, он повернулся к нему спиной и принялся рассматривать деревянное распятие, висевшее на стене.

Наступило минутное молчание, во время которого Пасро чувствовал, хотя не видел, как неприятно тяготеет над ним взгляд незнакомца. Впечатление это сделалось даже так стеснительно, что он чуть было не обернулся, в надежде это прекратить, когда внятный, отрывистый, резкий голос раздался в его ушах и заставил его обернуться как бы от электрического потрясения.

– Вы ждете аббата де Боаробера? – сказал незнакомец.

– Да, – отвечал Пасро, вдруг оробев.

– Аббат де Боаробер не придет. Я пришел вместо него.

Клерк вздрогнул от удивления, но не ответил ничего.

– Следовательно, вы должны мне сказать все, что сказали бы ему, – прибавил незнакомец.

Такого казуса Пасро не предвидел. Настала минута жестокого затруднения и замешательства. Что он должен был делать? Аббат де Боаробер предупредил его: «Если ты сделаешь вид, что понял что бы то ни было, ты погиб», – сказал он ему.

Отказаться отвечать этому человеку, который выдавал себя за присланного им, может быть, с единственной целью испытать его, не значило ли безмолвно сознаться, что он понял, по крайней мере, важность того, что заставляли его сделать? Но, отвечая, знал ли он, кому он отвечает? Если этот человек, который выдавал себя за посланного Боаробером, лгал; если это был какой-нибудь изменник, которому он глупо разболтает тайны аббата, в какое ужасное положение поставит он себя! Какое ужасное наказание наложит на него аббат, чтобы заставить его искупить эту измену! К нему пришло вдохновение, проблеск гениальности. Он придумал способ сохранить, как говорится, и капусту, и овцу.

– Милостивый государь, – отвечал он, придав своей физиономии, по природе довольно наивной, как у всех людей, которых природа одарила круглым, полным и безбородым лицом,

самое глупое выражение, – мое дело с аббатом де Боаробером не важно, и я не думаю, чтобы в этом заключалась малейшая тайна, но я не могу, однако, сказать об этом первому встречному, потому что ни вы меня не знаете, ни я вас, и мы можем обмануться оба.

Незнакомец сухо прервал его движением руки.

– Вас зовут Пасро? – сказал он.

– Точно так.

– Вы клерк у прокурора Гриппона?

– Опять так.

– И вы хотите жениться на дочери садовника в Валь де Грас?

– Денизе.

– Словом, вы получили от аббата де Боаробера сегодня утром поручение скопировать полдюжины строк, почерку которых вы должны подражать как можно вернее?

– Это также правда.

Незнакомец протянул руку.

– Покажите мне, что вы сделали, – сказал он повелительным тоном, пред которым Пасро преклонился.

– Вот, – сказал он, вынимая из кармана оригинал, отданный ему Боаробером, и копию.

Незнакомец, внимательно рассмотрел то и другое.

– Хорошо, – сказал он, – почерк скопирован верно. Теперь, – прибавил он, – аббату де Боароберу было бы любопытно узнать, могли ли бы вы, имея пред глазами такой простой образец, написать под его диктовку, подражая тому же почерку, письмо или другое что-нибудь?

– Я думаю, – сказал встревоженный Пасро.

– Посмотрим.

Посланный де Боаробера взял со стола лист бумаги, вероятно приготовленный заранее, сделал знак Пасро сесть, подвинул к нему листок и сказал ему просто:

– Пишите.

«Что это за человек?» – спросил себя клерк, сердце которого сильно билось, а спина и лоб обливались холодным потом.

Он обмакнул перо в чернила.

«Что, если это кардинал?» – подумал он, и свинцовый покров опустился на его глаза. Он чувствовал, что ему делается дурно. А почувствовать дурноту в подобных обстоятельствах значило бы признаться, что он угадал слишком много и погубит себя. Пасро справился с волнением, сжимавшим ему горло, и сказал спокойным голосом:

– Я готов.

Незнакомец ходил по комнате большими шагами.

«Милостивая государыня», – продиктовал он.

– Милостивая государыня, – повторил Пасро, когда написал.

Несчастный понял, что незнакомец смотрел через плечо его, и дыхание его остановилось.

– Очень хорошо, – сказал таинственный человек с довольным видом. – Продолжайте.

Он опять принялся ходить и продиктовал следующее письмо:

«Милостивая государыня,

Я слишком высоко ценю ум вашего величества для того, чтобы дать вам объяснение, которое вы уже получили, обнаружив вам, сколько было серьезного в сумасбродном маскараде вчера».

– Вчера, – машинально повторил Пасро.

«Чувства, которые я обнаружил вашему величеству, вовсе не входили в мою роль, они еще до сих пор запечатлены в глубине моего сердца».

– Моего сердца, – повторил Пасро все тем же тоном.

«Удостойте, ваше величество, милостиво выслушать выражение этих чувств, примите доказательство, и все сейчас же изменится около вас: ваша красота, так печально пренебрегаемая, ваши бесчисленные качества, так мало оцениваемые, примут в глазах властелина вид приятный и очаровательный. Могущество и удовольствия заменят в жизни вашего величества небрежность, в которой вы томитесь десять лет».

– Десять лет.

«Я готов уже был посадить вас на королевский трон так же высоко, как и короля, вашего супруга, я нашел бы столько счастья в благополучии вашего величества...»

– Величества.

«Но недоброжелательство моих врагов опередило знаки усердия, которые я хотел повергнуть к вашим ногам; вы начали уже меня ненавидеть, когда я усиливался доказать вам, что я самый преданный из ваших служителей. Человечество всегда платит злему духу дань слабости; я хотел показать вашему величеству, что вам могло недоставать союза со мною, даже когда вы находились на вершине величия. Заклинаю вас принять этот союз, теперь, когда вы узнали, увя! слишком горько, что его отсутствие отнимало от вас счастье и славу».

– И славу, – повторил Пасро.

«Прошедшее скоро изгладится из вашей памяти под облаком наслаждений, настоящее будет улучшаться каждый день знаками приобретенного величия, и будущее великолепно засияет для вас, если вы отдадитесь, но с убеждением и доверием, тому, кто один может и хочет предложить вам безопасно все, что вы имеете право ожидать от ваших прелестей, от вашего возраста и вашего звания.

*С почтительной и бесконечной нежностью, остаюсь ваш нижайший, почтительный слуга
Ришелье».*

«Это он!» – подумал Пасро.

Он придавал твердость своему голосу, чтобы он не дрожал, и повторил однообразным тоном писца, который пишет как машина, не сознавая, что пишет он:

– Слуга Ришелье.

Он сидел подняв перо на воздух.

– Больше ничего? – спросил он.

Эти слова великолепно выражали непритворную глупость. Ришелье был обманут и поверил, что имеет дело с настоящим дураком.

– Больше ничего, – сказал он.

Пасро положил перо и встал. Кардинал взял письмо, продиктованное им, и внимательно рассмотрел его, потом, вероятно оставшись доволен этим осмотром, он вынул из небольшого сундучка, стоявшего в головах кровати, мешок с деньгами, который положил на стол перед прокурорским клерком.

– Возьмите, друг мой, – сказал он, – в этом мешке сотня пистолей, возьмите. Вам дает их аббат де Боарбер.

– О! – сказал Пасро с восхищенным, но еще более глупым видом, чем прежде. – Это слишком большая сумма за такую ничтожную работу! Но если мне дает ее де Боаробер, мой покровитель, я не сделаю глупости и не откажусь.

Он жадно схватил мешок. И так как его собеседник не обращал внимания на него и повернулся к нему спиной, он сделал вид, будто хотел уйти, но остановился у дверей, чтобы сказать:

– Мне, однако, очень хотелось бы видеть господина де Боаробера. Он обещал принять участие в моей женитьбе на Денизе.

– Да, – сказал Ришелье, – он мне говорил. Ну, мой милый, я со своей стороны обещаю тебе не допустить аббата забыть о своем обещании. Если дело идет только о том, чтобы избавить тебя от докучливого соперника, то будь уверен, что ты женишься на Денизе.

– Благодарю, благодарю! – вскричал Пасро с порывом признательности. – Скажите господину де Боароберу, что я его благодарю и всегда буду готов к его услугам.

Поклонившись кардиналу довольно вежливо, чтобы не показаться невежей, и довольно бесцеремонно для того, чтобы не возбудить в нем подозрения, что он его узнал, он вышел из комнаты с мешком пистолей под мышкой. Через несколько минут он был на улице и уходил, спокойный и веселый, говоря себе:

«Если сам кардинал лично замешан в этом деле, я не рискую более ничем, только бы я сумел всегда притворяться глупым. Он сам мне обещал, что моя свадьба совершится и что я освобожусь от того, кто мне мешает; этот не обещает понапрасну. Мне остается только отыскать барона де Поанти, и так как невозможно, чтобы он два дня не приходил вздыхать под окнами Денизы, я отыщу его завтра».

Х

ГДЕ ВИДЕН СИЛЬНО ВЛЮБЛЕННЫЙ КРАСИВЫЙ ЮНОША
ВОЗЛЕ ОЧЕНЬ ВЛЮБЛЕННОЙ ХОРОШЕНЬКОЙ ДЕВУШКИ И ПАСТУХ,
КОТОРЫЙ, ОПАСАЯСЬ ВОЛКА, КАРАУЛИЛ ДВЕРЬ ОВЧАРНИ, МЕЖДУ
ТЕМ КАК ВОЛК ВНУТРИ ТЕРЗАЛ ОВЕЧКУ

Молодой барон де Поанти, который так озабочивал прокурорского клерка, вовсе не подозревал новой угрожавшей ему опасности. Но для него было достаточно и прежней. Хотя Поанти обладал истинным дарованием, чтобы убить со шпагой в руке самого опасного соперника, он был очень осторожен. Но его осторожность вовсе не походила на осторожность Пасро. У того осторожность могла назваться низостью, у барона она была только благоразумием. Барон имел неукротимое мужество, отвагу неслыханную в случае нужды, но он счел бы нелепой глупостью броситься добровольно в опасность, против которой не было возможной защиты. Поэтому он обратил большое внимание на дружеские советы герцога де Монморанси и графа де Морэ и не вернулся на свою квартиру на улице Феру.

– Шпага, как ни была хороша, не может отразить ружейную пулю, пущенную из-за угла, – сказал ему герцог.

Поанти рассудил, что герцог, говоря это, был совершенно прав. Он поспешил, как мы сказали, перейти Сену и поместился на время в одной из многочисленных гостиниц, населявших тогда окрестности Гревской площади. Укрывшись в новом жилище, куда, он знал наверно, что к нему не придут, барон старался дать себе отчет в своем положении. Оно показалось ему не совсем таково, как его описали Монморанси и Морэ. Засада, расставленная ему Лафейма и его злодеями, засада, которая, конечно, была бы для него смертельна без присутствия герцога и его друга, потому что вместо честной дуэли тогда прибегли бы к грубому убийству, эта засада, которую его покровители приписывали ревливой мести какого-то Пасро, воображавшего, что какая-то девушка, дочь садовника в Валь де Грас, по имени Дениза, бросила его для него, барона де Поанти, казалась ему происходившей от совершенно другой причины. Впервые, он сказал герцогу, и сказал справедливо, что он был в Париже только неделю и не знал там никого, и до того вечера, когда услышал в первый раз их имена, не знал о существовании Лафейма, Пасро и даже Денизы. В своих ежедневных вечерних прогулках вдоль стен Валь де Граса, он едва приметил домик, в котором жил садовник. Он не обратил никакого внимания на то, что в окне этого домика виднелась молодая девушка. Он даже ни разу не взглянул в ту сторону. Очевидно, в причине засады, которой он чуть было не сделался жертвою, скрывалось нечто посерьезнее мщения влюбленного. Таков был конец размышлений молодого барона де Поанти, но мы знаем, что он ошибался. Пасро, и Пасро один, побуждаемый ревностью, подстрекнул Лафейма и его помощников. Но кроме того, что Поанти, натура честная и благородная, мог с трудом поверить, что существует какой-нибудь Пасро, способный убить человека только потому, что этот человек прохаживался каждый день под окнами его возлюбленной, он имел свои особенные причины предполагать, что интерес, более могущественный, чем ревность прокурорского клерка, заставил обнажить против него шпаги Лафейма и его шайки. Эти причины, о которых никто кроме него судить не мог, потому что знал их он один, связывались с обстоятельствами, вынудившими его присутствие в Париже и ежедневные прогулки в Валь де Грас. Мы знаем уже, что барон родился в Поанти, в Дофинэ. В этом одном он признался откровенно Монморанси и Морэ. Но мы еще не знаем, что барон был восьмой сын очень знатного, но очень бедного дворянина, а это значило, что он в восемь раз был беднее своего благородного отца. Наследство, полученное им, состояло единственно из плаща и шпаги. Этого было мало. С двенадцати лет молодой Поанти вступил пажом в дом маркиза де Шаваня, губер-

натора в Дофинэ. Паж не лакей, хотя носит ливрею. Двадцати лет барон участвовал в войне с реформатами, пред Монтобаном, под начальством герцога Майеннского, и в войне Вальтелинской, с маркизом де Кавром; он присутствовал при осадах Монера, Монпелье, Негрепелисса и отличался везде необыкновенной храбростью, исключительной силой, неподражаемой ловкостью во всех телесных упражнениях. Но со всем тем он не разбогател, а отцовский замок тем не менее разрушался; каждый протекший год отнимал камень, каждый отвалившийся камень оставлял дыру. За две недели до начала этого рассказа его призвал де Шавань, который не был уже губернатором в Дофинэ после того, как Ришелье сделался министром, но он остался в уме всех дофинцев первым и самым знатным лицом по всей провинции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.